

Александр Грин

**Автобиографическая
повесть**



Александр Степанович Грин

Автобиографическая повесть

Текст предоставлен издательством
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=273912

Алые паруса: Эксмо; Москва; 2001

ISBN 5-04-007983-4

Аннотация

Грин в своей последней законченной книге занят не столько автобиографией, сколько анализом самого типа формирующейся творческой личности романтика. «Вся “Автобиографическая повесть” построена на контрасте между “идеальными”, романтическими представлениями о жизни и её суровыми реальными картинами, которые изображаются с натуралистической беспощадностью...»

Содержание

Бегство в Америку	5
Охотник и матрос	19
Одесса	41
I	41
II	46
III	61
IV	69
V	79
VI	87
VII	94
VIII	101
Баку	109
I	109
II	113
III	130
IV	142
V	149
Урал	160
I	160
II	167
III	174
IV	185
Севастополь	200

I	200
II	206
III	209
IV	212
V	217
VI	220
VII	222
Φοτο	230

Александр Грин

Автобиографическая повесть

Бегство в Америку

Потому ли, что первая прочитанная мной, еще пятилетним мальчиком, книга была «Путешествие Гулливера в страну лилипутов» – детское издание Сытина с раскрашенными картинками, или стремление в далекие страны было врожденным, – но только я начал мечтать о жизни приключений с восьми лет.

Я читал бессистемно, безудержно, запоем.

В журналах того времени: «Детское чтение», «Семья и школа», «Семейный отдых» – я читал преимущественно рассказы о путешествиях, плаваниях и охоте.

После убитого на Кавказе денщиками подполковника Гриневского – моего дяди по отцу – в числе прочих вещей отец мой привез три огромных ящика книг, главным образом на французском и польском языках; но было порядочно книг и на русском.

Я рылся в них по целым дням. Мне никто не мешал.

Поиски интересного чтения были для меня своего рода

путешествием.

Помню Дрэпера, откуда я выудил сведения по алхимическому движению Средних веков. Я мечтал открыть «философский камень», делать золото, натаскал в свой угол аптекарских пузырьков и что-то в них наливал, однако не кипятил.

Я хорошо помню, что специально детские книги меня не удовлетворяли.

В книгах «для взрослых» я с пренебрежением пропускал «разговор», стремясь видеть «действие». Майн Рид, Густав Эмар, Жюль Верн, Луи Жакольо были моим необходимым, насущным чтением. Довольно большая библиотека Вятского земского реального училища, куда отдали меня девяти лет, была причиной моих плохих успехов. Вместо учения уроков я, при первой возможности, валился в кровать с книгой и куском хлеба; грыз краюху и упивался героической живописной жизнью в тропических странах.

Все это я описываю для того, чтобы читатель видел, какого склада тип отправился впоследствии искать место матроса на пароходе.

По истории, закону божью и географии у меня были отметки 5, 5-, 5+, но по предметам, требующим не памяти и воображения, а логики и сообразительности, – двойки и единицы: математика, немецкий и французский языки пали жертвами моего увлечения чтением походов капитана Гаттераса и Благородного Сердца. В то время как мои сверстники

бойко переводили с русского на немецкий такие, например, мудреные вещи: «Получили ли вы яблоко вашего брата, которое подарил ему дедушка моей матери?» – «Нет, я не получил яблока, но я имею собаку и кошку», – я знал только два слова: копф, гунд, эзель и элефант. С французским языком дело было еще хуже.

Задачи, заданные решать дома, почти всегда решал за меня отец, бухгалтер земской городской больницы; иногда за непонятливость мне влетала затрещина. Отец решал задачи с увлечением, засиживаясь над трудной задачей до вечера, но не было случая, чтобы он не дал правильного решения.

Остальные уроки я наспех прочитывал в классе перед началом урока, полагаясь на свою память.

Учителя говорили:

– Гриневский способный мальчик, память у него прекрасная, но он... озорник, сорванец, шалун.

Действительно, почти не проходило дня, чтобы в мою классную тетрадь не было занесено замечание: «Оставлен без обеда на один час»; этот час тянулся как вечность. Теперь часы летят слишком быстро, и я хотел бы, чтобы они шли так тихо, как шли тогда.

Одетый, с ранцем за спиной, я садился в рекреационной комнате и уныло смотрел на стенные часы с маятником, звучно отбивавшим секунды. Движение стрелок вытягивало из меня жилы.

Смертельно голодный, я начинал искать в партах остав-

шиеся куски хлеба; иногда находил их, а иногда щелкал зубами в ожидании домашнего наказания, за которым следовал наконец обед.

Дома меня ставили в угол, иногда били.

Между тем я не делал ничего выходящего за пределы обычных проказ мальчишек. Мне просто не везло: если за уроком я пускал бумажную галку – то или учитель замечал мой посыл, или тот ученик, возле которого упала сия галка, встав, услужливо докладывал: «Франц Германович, Гриневский бросается галками!»

Немец, высокий, элегантный блондин, с надвое расчесанной бородкой, краснел как девушка, сердился и строго говорил: «Гриневский! Выйдите и станьте к доске».

Или: «Пересядьте на переднюю парту»; «Выйдите из класса вон» – эти кары назначались в зависимости от личности преподавателя.

Если я бежал, например, по коридору, то обязательно наткался или на директора, или на классного наставника: опять кара.

Если я играл во время урока в «перышки» (увлекательная игра, род карамбольного бильярда!), мой партнер отделивался пустяком, а меня, как неисправимого рецидивиста, оставляли без обеда.

Отметка моего поведения была всегда 3. Эта цифра доставляла мне немало слез, особенно когда 3 появлялась как *годовая* отметка поведения. Из-за нее я был исключен на год

и прожил это время, не очень скукая о классе.

Играть я любил больше один, за исключением игры в бабки, в которую вечно проигрывал.

Я выстругивал деревянные мечи, сабли, кинжалы, рубил ими крапиву и лопухи, воображая себя сказочным богатырем, который один поражает целое войско. Я делал луки и стрелы, в самой несовершенной, примитивной форме, из вереса и ивы, с бечевочной тетивой; стрелы же, выструганные из лучины, были с жестяными наконечниками и не летали дальше тридцати шагов.

На дворе я расставлял стоймя поленья шеренгами – и издали поражал их камнями, – в битве с не ведомой никому армией. Из изгороди огорода я выдергивал тычины и упражнялся в метании ими, как дротиками. Перед моими глазами, в воображении, вечно были – американский лес, дебри Африки, сибирская тайга. Слова «Ориноко», «Миссисипи», «Суматра» звучали для меня как музыка.

Прочитанное в книгах, будь то самый дешевый вымысел, всегда было для меня томительно желанной действительностью.

Делал я также из пустых солдатских патронов пистолеты, стреляющие порохом и дробью. Я увлекался фейерверками, сам составлял бенгальские огни, мастерил ракеты, колеса, каскады; умел делать цветные бумажные фонари для иллюминации, увлекался переплетным делом, но больше всего я любил строгать что-нибудь перочинным ножом; моими из-

делиями были шпаги, деревянные лодки, пушки. Картинки для склеивания домиков и зданий во множестве были перепорчены мной, так как, интересуясь множеством вещей, за все хватаясь, ничего не доводя до конца, будучи нетерпелив, страстен и небрежен, я ни в чем не достигал совершенства, всегда мечтами возмещая недостатки своей работы.

Другие мальчики, как я видел, делали то же самое, но у них все это, по-своему, выходило отчетливо, дельно. У меня – никогда.

На десятом году, видя, как меня страстно влечет к охоте, отец купил мне за рубль старенькое шомпольное ружьецо.

Я начал целыми днями пропадать в лесах; не пил, не ел; с утра я уже томился мыслью, «отпустят» или «не отпустят» меня сегодня «стрелять».

Не зная ни обычаев дичной птицы, ни техники, что ли, охоты вообще, да и не стараясь разузнать настоящие места для охоты, я стрелял во все, что видел: в воробьев, галок, певчих птиц, дроздов, рябинников, куликов, кукушек и дятлов.

Всю добычу мою мне дома жарили, и я ее съедал, причем не могу сказать, чтобы мясо галки или дятла чем-нибудь особенно разнилось от кулика или дрозда.

Кроме того, я был запойным удильщиком – исключительно по *шеклее*, вертлявой, всем известной рыбке больших рек, падкой на муху; собирал коллекции птичьих яиц, бабочек, жуков и растений. Всему этому благоприятствовала дикая

озерная и лесная природа окрестностей Вятки, где тогда не было еще железной дороги.

По возвращении в лоно реального училища я пробыл в нем всего еще только один учебный год.

Меня погубили: сочинительство и донос.

Еще в подготовительном классе я прославился как сочинитель. В один прекрасный день можно было видеть мальчика, которого рослые парни шестого класса таскают на руках по всему коридору и в каждом классе, от третьего до седьмого, заставляют читать свое произведение.

Это были мои стихи:

Когда я вдруг проголодаюсь,
Бегу к Ивану раньше всех:
Ватрушки там я покупаю,
Как они сладки – эх!

В большую перемену сторож Иван торговал в швейцарской пирожками и ватрушками. Я, собственно, любил пирожки, но слово «пирожки» не укладывалось в смутно чувствуемый мною размер стиха, и я заменил его «ватрушками».

Успех был колоссальный. Всю зиму меня дразнили в классе, говоря: «Что, Гриневский, ватрушки сладки – эх?!!»

В первом классе, прочитав где-то, что школьники издавали журнал, я сам составил номер рукописного журнала (забыл, как он назывался), срисовал в него несколько картинок

из «Живописного обозрения» и других журналов, сам сочинил какие-то рассказы, стихи – глупости, вероятно, необычайной – и всем показывал.

Отец, тайно от меня, снес журнал директору – полному, добродушному человеку, и вот меня однажды вызвали в директорскую. В присутствии всех учителей директор протянул мне журнал, говоря:

– Вот, Гриневский, вы бы побольше этим занимались, чем шалостями.

Я не знал, куда деваться от гордости, радости и смущения. Меня дразнили двумя кличками: Грин-блин и Колдун. Последняя кличка произошла потому, что, начитавшись книги Дебароля «Тайны руки», я начал всем предсказывать будущее по линиям ладони.

В общем, меня сверстники не любили; друзей у меня не было. Хорошо относились ко мне директор, сторож Иван и классный наставник Капустин. Его же я и обидел, но это была умственная, литературная задача, разрешенная мной на свою же голову.

В последнюю зиму учения я прочел шуточные стихи Пушкина «Коллекция насекомых» и захотел подражать.

Вышло так (я помню не все):

Инспектор, жирный муравей,
Гордится толщиной своей...

.....

Капустин, тощая козявка,

Засохшая былинка, травка,
Которую могу я смять,
Но не желаю рук марать.

.....

Вот немец, рыжая оса,
Конечно, – перец, колбаса...

.....

Вот Решетов, могильщик-жук...

Упомянуты, в более или менее обидной форме, были все, за исключением директора: директора я поберег.

Имел же я глупость давать читать эти стихи всякому, кто любопытствовал, что еще такое написал Колдун. Списывать их я не давал, а потому некто Маньковский, поляк, сын пристава, однажды вырвал у меня листок и заявил, что покажет учителю во время урока.

Две недели тянулась злая игра. Маньковский, сидевший рядом со мной, каждый день шептал мне: «Я сейчас покажу!» Я обливался холодным потом, умолял предателя не делать этого, отдать мне листок; многие ученики, возмущенные ежедневным издевательством, просили Маньковского оставить свою затею, но он, самый сильный и злой ученик в классе, был неумолим.

Каждый день повторялось одно и то же:

– Гриневский, я сейчас покажу...

При этом он делал вид, что хочет поднять руку.

Я похудел, стал мрачен; дома не могли добиться от меня

– что со мной.

Решив наконец, что если меня исключат окончательно, то ждут меня побои отца и матери, стыдясь позора быть посмешищем сверстников и наших знакомых (между прочим, чувства ложного стыда, тщеславия, мнительности и жажды «выйти в люди» были очень сильны в глухом городе), я стал собираться в Америку.

Была зима, февраль.

Я продал букинисту одну книгу покойного дяди «Католицизм и наука» за сорок копеек, потому что у меня никогда не было карманных денег. На завтрак мне выдавали две-три копейки, они шли на покупку одного пирожка с мясом. Продав книгу, я тайно купил фунт колбасы, спички, кусок сыра, захватил перочинный ножик. Рано утром, уложив провизию в ранец с книгами, я пошел в училище. На душе у меня было скверно. Предчувствия мои оправдались; когда начался урок немецкого языка, Маньковский, шепнув «сейчас подам», поднял руку и сказал:

– Позвольте, господин учитель, показать вам стихи Гриневского.

Учитель разрешил.

Класс притих. Маньковского со стороны дергали, щипали, шипели ему: «Не смей, сукин сын, подлец!» – но, аккуратно обдернув блузу, плотный, черный Маньковский вышел из-за парты и подал учителю роковой листок; скромно покраснев и победоносно оглядев всех, доносчик сел.

Преподаватель этого часа дня был немец. Он начал читать с заинтересованным видом, улыбаясь, но вдруг покраснел, потом побледнел.

– Гриневский!

Я встал.

– Это вы писали? Вы пишете пасквили?

– Я... Это не пасквиль.

От испуга я не помнил, что бормотал. Как в дурном сне, я слышал звон слов, упрекающих и громящих меня. Я видел, как гневно-изящно колышется красивый, с двойной бородой, немец, и думал: «Я погиб».

– Выйдите вон и ждите, когда вас позовут в учительскую.

Я вышел плача, не понимая, что происходит.

Коридор был пуст, паркет блестел, за высокими, лакированными дверями классов слышались мерные голоса учителей. Из этого мира я был вычеркнут.

Зазвенел звонок, двери пооткрывались, толпа учеников наполнила коридор, весело шумя и крича; лишь я стоял, как чужой. Классный наставник Решетов привел меня в учительскую комнату. Я любил эту комнату – в ней был прекрасный шестигранный аквариум с золотыми рыбками.

За большим столом, с газетами и стаканами чая, восседал весь синклит.

– Гриневский, – сказал, волнуясь, директор, – вот вы написали пасквиль... Ваше поведение всегда... подумали ли вы о родителях?.. Мы, преподаватели, желаем вам только

добра...

Он говорил, а я ревел и повторял:

– Больше не буду!

При общем молчании Решетов начал читать мои стихи. Произошла известная гоголевская сцена последнего акта «Ревизора». Как только чтение касалось одного из осмеянных – он беспомощно улыбался, пожимал плечами и начинал смотреть на меня в упор.

Только инспектор – мрачный пожилой брюнет, типичный чиновник – не был смущен. Он холодно казнил меня блеском своих очков.

Наконец тяжелая сцена кончилась. Мне было велено отправиться домой и заявить, что я временно, впредь до распоряжения, исключен; также сказать отцу, чтобы тот явился к директору.

Почти без мыслей, как в горячке, я вышел из училища и побрел к загородному саду – так назывался полудикий парк, верст пять квадратных объемом, где летом торговал буфет и устраивались фейерверки. Парк примыкал к перелеску. За перелеском была речка; дальше шли поля, деревни и огромный, настоящий лес.

Сев на изгородь у перелеска, я сделал привал: мне предстояло идти в Америку.

Голод взял свое – я съел колбасу, часть хлеба и начал раздумывать о направлении. Совершенно естественным казалось мне, что нигде, никто не остановит реалиста в форме,

в ранце, с гербом на фуражке!

Я сидел долго. Стало смеркаться; унылый зимний вечер развертывался вокруг. Ели и снег, ели и снег... Я продрог, ноги замерзли. Калоши были полны снега. Память подсказывала, что сегодня к обеду яблочный пирог. Как ни подговаривал я раньше кое-кого из учеников бежать в Америку, как ни разрушал воображением всякие трудности этого «простого» дела – теперь смутно почувствовал я истину жизни: необходимость знаний и силы, которых у меня не было.

Когда я пришел домой, было уже темно. Охо-хо! Даже теперь жутко все это вспоминать.

Слезы и гнев матери, гнев и побои отца; крики: «Вон из моего дома!», стояние в углу на коленях, наказание голодом вплоть до десяти часов вечера; каждый день пьяный отец (он сильно пил); вздохи, проповеди о том, что «только свиней тебе пасти», «на старости лет думали, что сын будет подмогой», «что скажут такие-то и такие-то», «тебя мало убить, мерзавца!» – вот так, в этом роде, шло несколько дней.

Наконец буря утихла.

Отец бегал, просил, унижался, ходил к губернатору, везде искал протекции, чтобы меня не исключали.

Училищный совет склонен был смотреть на дело не очень серьезно, с тем чтобы я попросил прощения, но инспектор не согласился.

Меня исключили.

В гимназию меня отказались принять. Город, негласно,

выдал мне уже волчий, неписанный паспорт. Слава обо мне росла изо дня в день.

Осенью следующего года я поступил на третье отделение городского училища.

Охотник и матрос

Может быть, следует упомянуть, что я не посещал начальной школы, так как меня учили писать, читать и считать дома. Отец временно был уволен со службы в земстве, и мы прожили год в уездном городе Слободском; тогда мне было четыре года. Отец служил помощником управляющего пивным заводом Александра. Мать стала учить меня азбуке; я скоро запомнил все буквы, но никак не мог постигнуть тайну слияния букв в слова.

Однажды отец принес книжку «Гулливер у лилипутов» с картинками, – крупным шрифтом, на плотной бумаге. Он посадил меня на колени, развернул книжку и сказал:

– Саша, давай читать. Это какая буква?

– М.

– А эта?

– О.

– Верно. Как же сказать их сразу?

В моем уме вдруг слились звуки этих букв и следующих, и, сам не понимая, как это вышло, я сказал: «море».

Так же сравнительно легко я прочел следующие слова, не помню какие, – и так начал читать.

Арифметика, которой начали меня учить на шестом году, была куда более серьезным делом; однако я научился вычитанию и сложению.

Городское училище было грязноватым двухэтажным каменным домом. Внутри тоже было грязно. Парты изрезаны, исчерчены, стены серы, в трещинах; пол деревянный, простой – не то что паркет и картины реального училища.

Здесь встретил я многих пострадавших реалистов, изгнанных за неуспешность и другие художества. Видеть товарищей по несчастью всегда приятно.

Был тут Володя Скопин, мой троюродный, по матери, брат; рыжий Быстров, удивительно лаконичному сочинению которого: «Мед, конечно, сладок» – я одно время страшно завидовал; тщедушный, дурашливый Демин, еще кое-кто.

Вначале, как падший ангел, я грустил, а затем отсутствие языков, большая свобода и то, что учителя говорили нам «ты», а не стеснительное «вы», начали мне нравиться.

По всем предметам, за исключением закона божьего, преподавание вел один учитель, переходя с одними и теми же учениками из класса в класс.

Они, то есть учителя, иногда, правда, перемещались, но система была такая.

В шестом классе (всего было четыре класса, только первые два делились каждый на два отделения) среди учеников были «бородачи», «старики», упорно путешествовавшие по училищу сроком на два года на каждый класс.

Там происходили бои, на которые мы, маленькие, взирали с трепетом, как на битву богов. «Бородачи» дрались рыча, скакали по партам, как кентавры, нанося друг другу сокру-

шительные удары. Драка вообще была обычным явлением. В реальном драка существовала как исключение и преследовалась очень строго, а здесь на все смотрели сквозь пальцы. Дрался и я несколько раз; в большинстве случаев били, конечно, меня.

Отметка моего поведения продолжала стоять в той норме, которую мне определила судьба еще по реальному училищу, редко поднимаясь до 4. Зато гораздо реже оставляли меня «без обеда».

Преступления всем известные: беготня, возня в коридорах, чтение за уроками романа, подсказывание, разговоры в классе, передача какой-нибудь записки или рассеянность. Напряженность жизни этого заведения была так велика, что даже зимой, сквозь двойные рамы, на улицу вырывался гул, подобный грохоту паровой мельницы. А весной, с открытыми окнами... Лучшее всех об этом выразился Деренков, наш инспектор.

– Постыдитесь, – увещевал он галдящую и скачущую ораву, – гимназистки давно уже перестали ходить мимо училища... Еще за квартал отсюда девочки наспех бормочут: «Помяни, господи, царя Давида и всю кротость его!» – и бегут в гимназию кружным путем.

Мы не любили гимназистов за их чопорность, щеголеватость и строгую форму, кричали им: «Вареная говядина!» (В. Г. – Вятская гимназия – литеры на пряжке ремней), реалистам кричали: «Александровский вятский разби-

тый урыльник!» (А. В. Р. У. – литеры на пряжках), но к слову «гимназистка» чувствовали тайную, неутоленную нежность, даже почтение.

Деренков ушел. Помедлив полчаса, гвалт продолжался до конца дня.

С переходом на четвертое отделение мои мечты о жизни начали определяться в сторону одиночества и, как прежде, – путешествий, но уже в виде определенного желания морской службы.

Моя мать скончалась от чахотки тридцати семи лет; мне было тогда тринадцать лет.

Отец женился вторично, взяв за вдовой псаломщика ее сына от первого мужа, девятилетнего Павла. Мои сестры подросли: старшая училась в гимназии, младшая – в начальной земской школе. У мачехи родился ребенок.

Я не знал нормального детства. Меня безумно, исключительно баловали только до восьми лет, дальше стало хуже и пошло все хуже.

Я испытал горечь побоев, порки, стояния на коленях. Меня, в минуты раздражения, за своеволие и неудачное учение звали «свинопасом», «золоторотцем», прочили мне жизнь, полную пресмыкания у людей удачливых, преуспевающих.

Уже больная, измученная домашней работой, мать со странным удовольствием дразнила меня песенкой:

Ветерком пальто подбито,
И в кармане – ни гроша,
И в неволе —
Поневоле —
Затанцуешь антраша!
Вот он, маменькин сыночек,
Шалопай – зовут его;
Словно комнатный щеночек, —
Вот занятие для него!

Философствуй тут как знаешь,
Иль, как хочешь, рассуждай, —
А в неволе —
Поневоле —
Как собака, прозябай!

Я мучился, слыша это, потому что песня относилась ко мне, предрекая мое будущее. Насколько я был чувствителен, видно хотя бы из того, что, совсем маленький, я заливался горчайшими слезами, когда отец, в шутку, мне говорил (не знаю, откуда это):

И хвостом она махнула
И сказала: не забудь!

Я ничего не понимал, но ревел.

Точно так же, довольно было показать мне палец, сказав: «Кап, кап!», как начинали капать мои слезы, и я тоже ревел.

Жалованье отца продолжало оставаться прежним, число детей увеличилось, мать болела, отец сильно и часто пил, долги росли; все вместе взятое создавало тяжелую и безобразную жизнь. Среди убогой обстановки, без сколько-нибудь правильного руководства, я рос при жизни матери; с ее смертью пошло еще хуже... Однако довольно вспоминать неприятное. У меня почти не было приятелей, за исключением Назарьева и Попова, о которых, в особенности о Назарьеве, речь будет впереди; дома были нелады, охоту я страстно любил, а потому каждый год, после Петрова дня – 29 июня, – начинал я пропадать с ружьем по лесам и рекам.

К тому времени, под влиянием Купера, Э. По, Дефо и жюль-верновского «80 тысяч верст под водой», у меня начал складываться идеал одинокой жизни в лесу, жизни охотника. Правда, в двенадцать лет я знал русских классиков до Решетникова включительно, но указанные выше авторы были сильнее не только русской, но и другой, классической европейской литературы.

Я хаживал с ружьем далеко, на озера и в лес, и часто ночевал в лесу, у костра. В охоте мне нравился элемент игры, случайности; поэтому я не делал попытки завести собаку.

Одно время у меня были старые охотничьи сапоги, купленные мне отцом; когда они сносились, я, придя к болоту, снимал свои обыкновенные сапоги, вешал их через плечо, засучивал штаны до колен, так и охотясь – босиком.

По-прежнему добычей моей были кулики разных пород:

черныши, перевозчики, турухтаны, кроншнепы; изредка – водяные курочки, утки.

Стрелять влет я еще не умел. Старое шомпольное ружье – одностволка, стоимостью три рубля (прежнее разорвалось, едва не убив меня), самым способом заряжания мешало стрелять так часто и скоро, как хотелось бы. Но не только добыча привлекала меня.

Мне нравилось идти одному по диким местам, где я хочу, со своими мыслями, садиться, где хочу, есть и пить, когда и как хочется.

Я любил шум леса, запах мха и травы, пестроту цветов, волнующую охотника заросль болот, треск крыльев дикой птицы, выстрелы, стелющийся пороховой дым; любил искать и неожиданно находить.

Множество раз я строил, мысленно, дикий дом из бревен, с очагом и звериными шкурами на стенах, с книжной полкой в углу; под потолком были развешаны сети; в кладовой висели медвежьи окорока, мешки с «пеммиканом», маисом и кофе. Сжимая в руках ружье с взведенным курком, я протискивался среди густых ветвей чащи, представляя, что меня ждет засада или погоня.

В виде летнего отдыха отца посылали иногда на большой Сенной остров, от города верстах в трех; там был больничный земский покос. Покос продолжался около недели; косили тихие помешанные или испытываемые из павильонов больницы. Я и отец жили тогда в хорошей палатке, с костром,

чайником; спали на свежем сене и удили рыбу. Кроме того, я ходил дальше, вверх по реке, верст за семь, где были озера в ивняке, и стрелял уток. Уток мы варили охотничьим способом, в гречневой каше. Их я приносил редко. Самой главной и обильной моей добычей, осенью, когда на полях оставались копны и жнитво, были голуби. Тысячными стаями слетались они из города и деревень на поля, подпускали близко, и от одного выстрела, бывало, ложилось сразу несколько штук. Жареные голуби жестки, поэтому я варил их с картофелем и луком; хорошее получалось кушанье.

У первого моего ружья был очень тугой курок, сильно разбивавший капсюль, а надеть на расшлепанный капсюль пистон являлось задачей. Он еле держался и иногда сваливался, упраздняя выстрел, или давал осечку. У второго ружья курок был слабый, что тоже вызывало осечки.

Если на охоте у меня не хватало пистонов, я, мало стесняюсь этим, прицеливался, держа ружье одной рукой у плеча, а другой поднося к капсюлю горящую спичку.

Предоставляю судить специалистам, насколько такой способ стрельбы может быть успешен, так как дичь имела довольно времени надумать – стоит ли ей ждать, пока огонь накалит капсюль.

Несмотря на мою действительную страсть к охоте, у меня никогда не было должной заботы и терпения снарядиться как следует. Я таскал порох в аптекарской склянке, отсыпая его на ладонь при зарядании – на глаз, без мерки; дробь ле-

жала в кармане, часто один и тот же номер на всякую дичь – например, крупный, № 5, шел и по кулику и по воробьиной стае или, наоборот, мелкий, как мак, № 16 летел в утку, только обжигая ее, но не сваливая.

Когда плохо сделанный деревянный шомпол ломался, я срезал длинную ветку и, очистив ее от сучков, гнал в ствол, с трудом вытаскивая обратно.

Вместо войлочного пыжа или кудельного я очень часто забивал заряд комком бумаги.

Неудивительно, что добычи у меня было мало при таком отношении к делу.

Впоследствии, в Архангельской губернии, когда я был там в ссылке, я охотился лучше, с настоящими припасами и патронным ружьем, но небрежность и торопливость сказывались и там.

Об этой одной из интереснейших страниц моей жизни я расскажу в следующих очерках, а пока прибавлю, что только раз я был доволен собой вполне – как охотником.

Меня взяли с собой на охоту взрослые молодые люди, бывшие наши квартирные хозяева, братья Колгушины. Уже темной ночью мы возвращались с озер к костру. Вдруг, покрякивая, свистнула крыльями утка и, плеснув по воде, села на небольшое озерко, шагах в тридцати.

Вызвав смех спутников, я прицелился на звук плеска севшей в черной тьме утки и выстрелил. Слышно было, что утка забила в камышах: я попал.

Две собаки не могли найти мою добычу, чем даже сконфузили и рассердили своих хозяев. Тогда я разделся, полез в воду и, по горло в воде, разыскал убитую птицу по смутно чернеющему на воде ее телу.

Время от времени мне удавалось зарабатывать немного денег. Однажды земству понадобился чертеж одного городского участка с строениями... Отец устроил этот заказ мне, я ходил по участку с рулеткой, потом чертил, испортил несколько чертежей, наконец, с грехом пополам, сделал, что нужно, и получил за это десять рублей.

Раза четыре отец давал мне переписывать листы годовой сметы земских благотворительных заведений, по десять копеек с листа, на этом деле я тоже заработал несколько рублей.

Двенадцати лет я пристрастился к переплетному мастерству, сам сделал станок для сшивания; роль пресса играли кирпичи и доска, кухонный нож был обрезальным ножом. Цветная бумага для переплетов, сафьян для углов и корешков, коленкор, краски для обрызгивания обреза книги и книжечки фальшивого (сусального) золота для тиснения букв на корешках – все это я приобретал постепенно, частью на деньги отца, частью на свои заработанные.

Одно время у меня было порядочно заказов; будь мои изделия сделаны тщательнее, я мог бы, учась, зарабатывать пятнадцать-двадцать рублей в месяц, но старая привычка к

небрежности, поспешности сказалась и здесь, – месяца через два моя работа окончилась. Я переплел около ста книг – в том числе тома нот одному старому учителю музыки. Мои переплеты были неровны, обрез неправилен, вся книга вихлялась, а если не вихлялась по сшивту, то отставал корешок или коробился самый переплет.

Ко дню коронации Николая II в больнице готовили иллюминацию, и мне, через отца, сделан был заказ на двести бумажных фонарей из цветной бумаги по четыре копейки за штуку, с готовым материалом.

Усерднейшим образом я работал две недели, изготовив, по обычаю своему, не очень важные изделия, за что получил восемь рублей.

Ранее, когда мне случалось заработать рубль-два, я тратил деньги на порох, дробь, зимой – на табак и гильзы. Мне разрешено было курить с четырнадцати лет, а тайно я курил с двенадцати, хотя еще не «затягивался»! Затягиваться я начал в Одессе.

Получение этих восьми рублей совпало с лотереей-аллегри, устроенной в городском театре. В оркестре были расставлены пирамиды вещей, как дорогих, так и дешевых. Главный выигрыш, по странному направлению провинциальных умов, был, как водится, корова, наравне с коровой шли мелкие драгоценности, самовары и пр.

Я пошел играть, вскоре туда же явился подвыпивший отец. Я проставил на билеты пять рублей, беря все пустые

трубочки. Капитал мой таял, я загрустил, но вдруг выиграл диванную бархатную подушку, расшитую золотом.

Отцу повезло: проставив сначала половину жалованья, он выиграл две брошки, рублей, скажем, на пятьдесят.

До сих пор не забыть мне, как к колесу подошла дурная, как грех, девица, взяла два билета, и оба они оказались выигрышными: самовар и часы.

Я забежал вперед, но надо было сказать все о моих заработках. Поэтому я добавлю, что в последние две зимы жизни дома я подрабатывал еще перепиской ролей для театральной труппы – сначала малороссийской, затем драматической. За это платили пять копеек с листа, записанного кругом, и я писал не убористо, а возможно разгонистее. Кроме того, я пользовался правом бесплатного посещения всех представлений, входа за кулисы и игры на выходных ролях, где надо, например, сказать: «Он пришел!» или «Хотим Бориса Годунова!»

Иногда я писал стихи и посылал их в «Ниву», «Родину», никогда не получая ответа от редакций, хотя прилагал на ответ марки. Стихи были о безнадежности, беспросветности, разбитых мечтах и одиночестве – точь-в-точь такие стихи, которыми тогда были полны еженедельники. Со стороны можно было подумать, что пишет сорокалетний чеховский герой, а не мальчик одиннадцати-пятнадцати лет.

Для своего возраста я начал недурно рисовать с семи лет, и мои отметки по рисованию всегда были 4–5. Я хорошо ко-

пировал рисунки и сам научился писать акварелью, но это были тоже копии рисунков, а не самостоятельные работы, всего два раза я сделал акварелью цветы. Второй рисунок – водяную лилию – я увез с собой в Одессу, а также взял краски, полагая, что буду рисовать где-нибудь в Индии, на берегах Ганга...

В городском училище я учился посредственно, был на плохом счету как озорник, хотя и там, кроме возни, драк, непослушания и подкалывания, ничего особенного не творил. Мне хорошо давались лишь словесность, история, закон божий и писание сочинений. Наш класс вел добрейший человек, фамилию которого я, к сожалению, забыл; впоследствии он стал инспектором Глазовского городского училища.

Только по возрасту и росту я просидел последний год на задней парте, – остальное время, чтобы я всегда был на виду, меня держали на передней парте, прямо перед столом учителя.

Мое развитие было не в пример выше всех учеников училища, а потому, очень часто, на вопрос: «Кто знает?» – я, подняв руку, звучал как энциклопедия. Учитель любил меня, но, любя, преследовал строже, чем других, и без стеснения посылал к доске, если замечал, что я хихикаю с кем-нибудь или под партой толкаюсь ногами со своим обидчиком (я никогда не начинал первый).

Одно мое сочинение на тему «Мой любимый уголок» учи-

тель читал вслух всему классу как образец. Я описал камышовый островок мельничного пруда, где любил сидеть с книгой, ружьем и хлебом. Другой раз была задана тема: «О пользе собак». Я написал «о вреде собак» (хотя думал иначе), доказывая, что случаи водобоязни во всем мире перевешивают пользу собак для эскимосов, охотников и хозяев стад. Учитель начертал единицу, приписав: «Написано отлично, но не на тему». Это сочинение тоже было «опубликовано», и я видел, что учитель втайне гордится этой моей эскападой.

В пятом отделении, по странной прихоти, я написал для себя статью: «Вред Майн Рида и Густава Эмара», в которой развивал мысль о губительности указанных писателей для подростков. Вывод был такой: начитавшись живописных страниц о далеких, таинственных материках, дети презирают обычную обстановку, тоскуют и стремятся бежать в Америку. Примером я выставил театральный спектакль, после которого еще мрачнее и незavidнее кажется дом, участь бедняка.

Собрав после классов несколько человек слушателей, я прочел им эту галиматью. Они выслушали, возражать не умели или не хотели; тем дело и кончилось. До сих пор не понимаю, зачем я это сделал, – я, даже теперь с волнением думающий о путешествиях.

В четвертом отделении случился выстрел: я имел глупость принести с собою в класс пистолет, собственноручно сделанный из солдатского патрона, заряжаемый порохом, дробью

и воспламеняемый бумажным пистоном; я его держал в парте, трогая стальную пластинку с гвоздиком, заменяющую курок, – как вдруг курок сорвался, гром выстрела едва не сбросил учителя со стула; пошел дым столбом – и все повскакали.

За это художество меня со сторожем и запиской об исключении на две недели отправили домой.

Я ревел, просил прощения, отец стегал меня ремнем, ходил к инспектору и с трудом уладил дело, так что через три дня я опять сидел на последней парте.

В шестом отделении произошел случай посерьезнее. Хороший учитель уехал в Глазов, а его место занял новый, ранее не служивший, Алексей Иванович Терпугов. Это был крайне желчный, истеричный человек, измученный невралгией и ненавидевший учеников до того, что, забывшись, кричал на них и топал ногами.

Чем-то я провинился во время урока – кажется, разговаривал.

– Гриневский! – крикнул мне Терпугов. – Помяни мое слово, что не миновать тебе скамьи подсудимых!

Разговаривая с соседом, я в то же время потихоньку ел принесенного с собой на завтрак рябчика. Я встал и запустил рябчиком в Терпугова. Рябчик шлепнулся о вицмундир и упал на пол.

Терпугов оцепенел. Он так побледнел, что и я испугался. Учитель сдавленным голосом приказал мне выйти вон.

Весь дрожа, со слезами обиды и гнева, я, выйдя, немед-

ленно направился домой и рассказал отцу, что случилось.

Первый раз произошло, что отец меня не бранил (меня как большого он теперь не бил). Походив взад-вперед, отец направился к инспектору. Возник было вопрос о моем исключении, но все же инспектор Деренков и другие признали неправоту в этом деле Терпугова.

Дело, после двух недель моего домашнего пребывания, кончилось формальным извинением с моей стороны.

После этого я кончил наконец училище без инцидентов и, получив аттестат (средняя отметка – 3, по поведению – 5, ради того, чтобы не портить мне жизнь), я начал собираться в Одессу.

Теперь я расскажу, с чего это началось.

Отчасти очень дальними родственниками по матери – а больше просто знакомыми – приходились нам Чернышевы. Отец Чернышев был протоиерей кафедрального собора. У него был сын – Сережа, двумя или тремя годами старше меня, тихий, малоспособный мальчик; исключили его за неуспешность или же сами родители взяли из семинарии – точно не помню. Только в один прекрасный день я узнал, что Сережа отправился в Одессу, поступил в Херсонские мореходные классы и совершил кругосветное путешествие.

Торжествующие родители показывали цветную фотографию. На ней был изображен молодой моряк, одетый в форму матроса; на ленте бескозырной фуражки можно было прочесть: «Императрица Мария». Ленты падали от затылка че-

рез плечо на грудь. Полосы клинообразно выступающего из-за голландки с синим воротником тельника долгое время не давали мне покоя; я все решал – есть ли это часть рубашки или же это надевается особо, как галстук. Довольно сказать, что я никогда не видел такой одежды и положительно влюбился в нее, особенно в ленты, которые, при открытой шее и бескозырьковой фуражке, придавали открытому, мужественному лицу Сережи особый поэтический оттенок. Но, главное, я увидел возможность практического решения задачи путешествий, причем Чернышев еще получал жалованье!

Кроме того, аттестата городского училища было достаточно для поступления в Мореходные классы без всякого экзамена.

Отец однажды взял меня с собой к Чернышевым, и мы выпытывали у них все, что они знали о своем сыне. Немного я приуныл (вопрос шел о том, где остановиться в Одессе и много ли надо на поездку денег), когда мать Сережи сказала, что сыну они дали сто пятьдесят рублей, наказав остановиться в хорошей гостинице, и что продолжали посылать ежемесячно по двадцать пять рублей, пока Сережа не начал получать жалованье рулевого матроса – двадцать два рубля с копейками на всем готовом. Теперь он плавал уже в Добровольном флоте на «Саратове», был в Японии, Китае, Сингапуре... Сингапуре!..

Я сидел подавленный и взволнованный. Ведь я до сих пор

только мечтал, тогда как Чернышев с легкостью, как мне казалось, необычайной, без шума и треска сделался моряком дальнего плавания.

Чернышевы, между прочим, говорили, что Сережа «лазил на мачты». Не зная устройства вант, я был очень встревожен, так как по гимнастическим столбам всползал плохо, а лазанье на мачты представлялось мне именно карабканьем по толстому голому столбу.

Относительно мачт меня через некоторое время просветил другой Чернышев, брат моего одноклассника Чернышева, тоже выставленного из реального училища мальчика (за неуспешность); он одно время учился в Астраханских мореходных классах и плавал на парусных судах; я понял назначение вант, и страх перед мачтами прошел. Но этот Чернышев не был для меня настоящим моряком: он плавал в *закрытом* море, был неуклюж, неприятно широкоплеч, черен, болезненно красив и туп; в довершение всего поступил на службу в акциз.

Я старался, где мог, узнать о море, о морской службе. Одно время к деревенской девице, нашей прислуге, ходил на кухню ее брат; он же колол нам дрова. Этот парень был матросом в Одессе. О Мореходных классах он ничего не знал, и я разочаровался, потому что этот человек не понимал меня. Меня интересовали впечатления далеких стран, бурь, битв с пиратами, а он говорил о пайке, жалованье и дешевизне арбузов.

Весной 1895 года я увидел в жаркий день на пристани извозчицью «долгушу»; на ней, небрежно развалясь, сидели, обложенные чемоданами, два штурманских ученика в белой матросской форме. На ленте одного написано было «Очков», на другой – «Севастополь». Загорелые, беспечные лица юношей, грызших семечки, привлекали внимание прохожих. Я остановился, смотрел как зачарованный на гостей из таинственного для меня, прекрасного мира.

Я не завидовал. Я испытывал восхищение и тоску. Так я и не узнал, приезжали ли эти молодые люди в гости к кому-нибудь или домой, – я больше их не видел.

Немного погодя прошел слух еще об одном моряке, явившемся домой на время; это был молодой, коротко остриженный, белесый человек серьезного типа: он одевался в штатское (особый английский шик, как я узнал позже) и курил трубку.

Отец узнал его адрес, и, страшно стесняясь, я посетил моряка; когда я пришел, он стоял у калитки; тут же мы и поговорили. Его фамилии я не помню. Ничего особенно нового я не узнал. Моряк считал парусные суда лучшей школой, был в каботаже (то есть плавал внутри Черного моря) и рассказывал, сколько для практики надо выплавать за время учения – что-то года полтора, кажется.

Я видел, что он смотрел на море как на работу, а не как на героическую поэзию, и отвернулся от него сердцем своим.

Весной 1896 года приехал в гости домой Сережа Черны-

шев.

Мачеха, ставшая добрее, так как предвиделся мой скорый отъезд, и отец не раз уговаривали меня сходить к Чернышевым, чтобы поговорить с Сережей, но я ни за что не хотел – и не мог. Сам себе казался я таким ординарным, жалким, в своей серой блузе с ремнем, длинными, зачесанными назад волосами и узкими плечами, что не мог предстать перед блистательным существом в фуражке с лентой, да еще проделавшим кругосветное путешествие.

Чтобы понять это, надо знать провинциальный быт того времени, быт глухого города. Лучше всего передает эту атмосферу напряженной мнительности, ложного самолюбия и стыда рассказ Чехова «Моя жизнь». Когда я читал этот рассказ, я как бы полностью читал о Вятке.

Под разными предлогами я отказался идти.

Чернышев приехал с товарищем, земляком; я очень удивлялся, когда младший из братьев Колгушиных, воспитанник сиротского земского дома, слесарь и силач, говорил мне: «Вот, приехали эти жулики-флотчики!..» Конечно, это была зависть, но я не понимал, как можно, даже из зависти, так говорить о прекрасных детях моря.

Потом я слышал, что «флотчики», напившись в загородном саду, с кем-то жестоко дрались у городской черты, но это лишь прибавило мне восхищения: моряки *должны быть* непобедимы.

21 июня отец, получив жалованье, дал мне двадцать пять

рублей на дорогу. Больше он дать не мог. От умершей матери остался маленький Борис; прибавились: Павел, мачехин сын, и, от нее же, новый ребенок, мальчик.

Из этих денег я купил за шестьдесят копеек ивовую корзинку, на сорок копеек табаку и гильз. В корзинку мне положили немного белья, мыло, серые ученические брюки из полубумажной материи, такую же курточку, а на мне были парусиновые блуза и брюки. В соломенной дешевой шляпе и тяжелых, до колен высотой, охотничьих сапогах, я собрался ехать в Одессу. Я был в чрезвычайном волнении. До сих пор, если не считать Слободского, я не покидал Вятки, а тут предстояло уехать за две тысячи верст. Множество раз в день я доставал из кармана свой старый кошелек и пересчитывал синие ассигнации с мелочью; я казался себе миллионером.

Двадцать третьего отходил пароход в Казань в двенадцать часов дня. Перед отправлением на пристань собрались меня провожать сестры, мачеха, маленькие брат и Павел. Настроение было торжественное. Отец сказал:

– Надо присесть...

Присели в молчании. Потом отец встал, сказав:

– Ну, вот и вылетела птичка из гнезда.

Я видел, что он скрывает слезы.

– Ну, Александр, будь умницей, хорошо учись, надейся на себя и свои силы, помни, что я тебе уделить ничего не могу. Пиши обо всем.

– Да, завидная участь, – сказала мачеха, – увидеть чужие

страны, увидеть... много чего такого. – Она простилась со мной довольно тепло.

Девочки ревели. Младший брат, Борис, тоже начал голосить.

Я с отцом сели на извозчика и через полчаса были на пристани. На дорогу мне дали разной провизии, чаю, сахару, стакан и жестяной чайник. Снеся на нижнюю палубу корзинку и одеяло с подушкой (ехал я третьим классом), я взял в кассе билет, а через минуту уже начали убирать сходни.

Я пошел наверх, стал у поручня. Пароход заворачивал на середину течения. Я долго видел на пристани, в толпе, растерянное, седобородое лицо отца, видел, как он щурился против солнца, стараясь не потерять меня из виду среди паровой толпы.

Я тоже стоял и смотрел, махая платком, пока пароход не обогнул береговой выступ. Тогда я, с сжавшимся сердцем, пошел вниз.

Был я и смятен и ликовал. Грезилось мне море, покрытое парусами...

Одесса

I

До шестнадцати лет я никогда не покидал Вятку. Мое первое самостоятельное путешествие было рядом мелких колумбиад, открытий и наблюдений. Три дня пути до Казани я рассматривал как неопределенно долгий срок, в течение которого я успею вдоволь насладиться движением по реке, сменой берегов и пристаней, мерным содроганием парохода, шумом колес. Я был счастлив уже тем, что еду.

Просунув голову в окно машинного отделения, я изучал движения блестящих частей машины, сильную круговую наддачу рычагов, бесшумное трение эксцентриков, возню внизу, у катка, замасленных кочегаров; иногда один из них влезал наверх и лил из масленки желтое масло на горячую сталь машины. Перегнувшись через борт, я смотрел на красные лопасти колеса, бьющего воду на отгоняемый им пенистый бугор; я всходил на верхнюю палубу, интересуясь действиями рулевого и лоцмана, любовался бегом дыма паровой трубы и фонтаном пара, вырывающегося из свистка. Когда на пристанях грузили кладь, я любил стоять у трюма, смотря, как летят вниз, по катку, рогожные тюки и деревянные ящики. Однако все эти явления интересовали меня,

по преимуществу, *зрительно*, и я не помню случая, чтобы я спрашивал кого-нибудь об их технике, об их связи между собой, об их природе.

Я только смотрел и запоминал.

Когда мы проехали двести верст, пароход остановился у так называемого «переката» (песчаный нанос), потому что сел на мель. Команда работала целый день, заводя якорь и крутя ворот, но стащить пароход не удавалось. Я видел песчаное дно не глубже чем на три четверти аршина. Наконец снизу показался пароход из Казани, и оба парохода обменялись пассажирами, а также грузом, – тот, на котором я ехал из Вятки, пошел обратно, в Вятку, а пароход из Казани повернул в Казань. Пройти перекат не удалось ни тому, ни другому. С большими усилиями наш пароход приблизился к берегу; положили сходни, и пассажиры перетаскивали свой груз на себе; многим помогали матросы – вятские бородатые мужички в синих матросках и кожаных картузах.

Я помещался на нижней палубе, между кормой и машиной, на люке трюма, где было свалено много багажа; в гнездах этого багажа ютились третьеклассные пассажиры, мест не хватало на всех. Несколько раз в день я брал чай – в фаянсовом чайнике, с лимоном и мелко наколотым сахаром; чашка была синяя с золотым краем. Чаепитие стоило семь копеек. Чай заменял мне обед и ужин, потому что почти на каждой пристани я покупал снесь. Первый раз в жизни я тратил деньги самостоятельно и свободно. Я покупал так

называемые «ярушники» – плоские овсяные хлебцы, «сушку» (сухие баранки), землянику, горячие пельмени, белый хлеб с изюмом, верхняя корка которого, смазанная яичным белком, блестела, как масляная, куски печенки, колбасу, берестяные бурачки с густыми сливками, молоко, пряники, жареную рыбу и некоторое время страдал расстройством желудка.

Утром, на пятый день плавания, я приехал в Казань. Город отстоит от Волги в пяти верстах, поэтому я не отправился осматривать город, а немедленно купил билет на пароход компании «Кавказ и Меркурий» до Нижнего Новгорода; перенес свою поклажу на пристань, сдал ее хранить сторожу, а сам отправился бродить вдоль пристаней и встретил несколько молодых жуликов, один из которых, заступив мне дорогу, начал кричать: «Ваня, дорогой! Как ты сюда попал?» Я был все же не настолько глуп, чтоб поддаться такой общительности, и послал мошенников к черту. Испив в береговом трактире чаю, я купил удочку, сел с ней на берег грязной речки Казанки и пытался удить рыбу, но ничего не поймал.

Я засунул удочку в штабель бревен и, захватив вещи, поехал с ними на извозчике на вокзал.

Я заплатил за билет до Одессы двенадцать рублей восемьдесят копеек и перешел несколько путей, чтобы сесть в поезд. Когда извозчик подъезжал к вокзалу, я увидел низко над землей два огненных глаза, силуэт трубы, услышал пыхтение, стук и догадался, что это есть тот самый паровоз, о кото-

ром я до сих пор лишь слышал и читал в книгах. Паровоз показался мне маленьким, невзрачным, я представлял его с колокольню высотой. Так же впоследствии был я удивлен разрешением долго мучившей меня загадки вагонных ступенек. В одном из еженедельников я увидел как-то иллюстрацию – рисунок зимнего поезда; по тому, что рельсы были закрыты ступеньками и выступами вагонов, я решил, что ступеньки – это полозья для скольжения поезда зимой по снегу.

Поезд отошел в одиннадцать вечера, народу было мало. Момент отхода сильно взволновал меня. Все было ново: не то все кружилось вокруг, не то мчалось вперед; частый стук рельсов, новая обстановка, воображаемая невероятная быстрота и боязнь крушения долго не давали мне спать. В эту ночь я еще не открывал дверь вагона, чтобы *смотреть*, – не решался; но в дальнейшем я, главным образом, сидел на площадке, свесив наружу ноги. Удивительно, как не украли мою корзину и одеяло!

О Москве я слышал, что это город тупиков и зевак. Пока стоял поезд, я немного ходил по прилегающим к вокзалу улицам, удивляясь величине домов, выложенных цветными изразцами, шуму и движению. Действительно, я зашел в какой-то тупик, чем был очень доволен, но зевак, собирающихся будто бы толпами глазеть на крышу, если хотя один человек начнет смотреть вверх, не видел. В сравнении с тихой, мнительной и тщеславной Вяткой («выйти в люди», «быть как все», «построить пальто, костюм») мир шумных, энер-

гичных, развязных и торопливых людей нагонял на меня робость; почти в каждом человеке я видел жулика.

Побродив около часа, я возвратился в вагон.

Теперь мне предстояло проехать до Одессы два дня и две ночи.

II

Тогда уже определенно сказалась природная беспечность моя: с шестью рублями в кармане, с малым числом вещей, не умея ни служить, ни работать, узкогрудый, слабосильный, не знающий ни людей, ни жизни, я нимало не тревожился, что будет со мною. Я был уверен, что сразу поступлю матросом на пароход и отправлюсь в кругосветное путешествие. Мне, кстати, некогда было размышлять, так как я находился среди невиданных интересных явлений. Сидя при отличной погоде на ступеньках вагона, я курил насыпанные еще дома в гильзы папиросы и рассматривал пробегающую окрестность. Некоторые пассажиры интересовались моим путешествием, а я говорил всем, что «еду на море». На больших станциях я выходил, выпивал рюмку водки, съедал пирожок с мясом и заваривал чай в жестяной чайник. Мне хотелось ехать как можно дольше.

В Киеве сел к нам странный, подозрительный человек лет тридцати, с острой бородкой, в панаме и чесучовом костюме и пикейном с голубыми цветочками жилете. На пассажире были огромные желтые ботинки, на золотой цепи часов бренчали десятки брелоков. Он принимал изнеженные бескостные позы, разваливался, зевал, играл брелоками и курил сигареты.

По его развязности, количеству брелоков и вообще бес-

печной летней щеголеватости я, конечно, признал в нем мазурика высшей марки, так как читал, что жулики одеваются вызывающе хорошо, любят носить много брелоков, мимика у них оживленная, взгляд быстрый, блестящий.

Поговорив с пассажиром (жулик расспрашивал меня, что я хочу делать в Одессе, есть ли у меня знакомые, деньги и т. д.), я немедленно направился к своей соседке, пожилой еврейке, обложенной горами багажа, и шепотом сообщил ей, что с нами едет опасный жулик. Встревоженная еврейка поверила мне на слово, особенно когда я привел такое доказательство, как брелоки. Вмешались другие пассажиры, и едва не решено было заявить о мазурике жандарму ближайшей станции.

Между тем ничего не подозревающий пассажир снова подозвал меня и начал скорбеть, что мой отец так легкомысленно отпустил меня, почти без денег, на произвол людей и стихий. Тут же вытащив карандаш, конверт и бумагу, мазурик написал письмо бухгалтеру Хохлову, в Карантинное агентство Р. О. П. и Т.

– Хохлов, Николай Иванович, знаком со многими капитанами; он может тебя устроить, – сказал мазурик. – Как приедешь, сейчас же передай ему это письмо.

Я поблагодарил, но ни письму, ни словам не поверил; однако письмо взял. Кроме недоверия, мне помешало отдать Хохлову письмо ложное самолюбие; я стремился жить самостоятельно, а протекция, как мне казалось, вновь делала ме-

ня мальчиком, я же считал себя взрослым.

Лишь через несколько дней я узнал, что мнимый мазурик состоит управляющим крупной мануфактурой фирмы Пташникова в Одессе. Забыв его фамилию, назову этого человека «Кондратьев». Он вышел на большой станции, вскоре после письма; на этой же станции сел в наш вагон моряк, ученик Херсонских мореходных классов – лет девятнадцати; он ездил домой, а теперь хотел поступить в Одессе матросом или *учеником*. Как я узнал от него, для поступления в Мореходные классы требовался шестимесячный опыт плавания; невыгода плавать учеником была очевидна, так как *ученик* плавал без жалованья, платя за «харчи», то есть продовольствие, восемь-девять рублей в месяц, но работал при этом как обыкновенный матрос.

Я не сомневался, что поступлю платным матросом. Я казался себе сильным, широкоплечим, молодцеватым парнем, тогда как был слабогруд, узок в плечах и сутул – но страшно вспыльчив и нетерпелив.

Моего знакомого звали Малецкий; этот невысокий, коренастый шатен был одет в синюю матроску и «майские», то есть белые, брюки, а фуражку он носил с козырьком, морского типа, – черный околыш, ремешок, белый чехол и якорь над козырьком. Поэтому я не чувствовал к нему настоящего уважения, так как признавал подлинно морскими лишь белую матроску с синим воротником (пусть даже при белых брюках) и бескозырьковую фуражку с лентой. Малецкий

многое рассказал мне о плавании, научил, как искать работу: взойдя на пароход, осведомиться у старшего помощника: «нет ли вакансий», а если этот спросит: «где раньше плавал?» – сказать, что служил на барже или шаланде, потому что совсем неопытному человеку место найти трудно.

Мы уговорились снять вместе помещение и, приехав в Одессу, отыскиали с помощью извозчика какое-то «Афонское подворье», где взяли грязнейший номер за шестьдесят копеек в сутки. Уже потрясенный, взволнованный зрелищем большого портового города, его ослепительно-знойными улицами, обсаженными акациями, я торопливо собрался идти – увидеть наконец море; не ев, не пив, отправился я на улицу. Малецкий тоже ушел в порт. Я вышел на Театральную площадь, обогнул театр и, пораженный, остановился: внизу слева и справа гремел полуденный порт. Дым, паруса, корабли, поезда, пароходы, мачты, синий рейд – все было там, и всего было сразу не пересмотреть. Странно поразило меня такое явление: морская чуть туманная даль (горизонт) стояла вертикально, стеной, а по гребню этой стены полз длинный дым скрытого расстоянием судна. Лишь через несколько минут мое зрение освоилось с перспективой. Единственным моим недоумением было видеть горизонт ближе, чем я ожидал; я думал, что морская даль тянется значительно *дальше*.

Было так знойно, так утомительно вокруг, так все ново, так этот новый мир, видимо, не нуждался сейчас во мне, что я решил обождать идти в порт и отправился осматривать

улицы, причем выходил пять или шесть часов.

Однажды я сел в конный трамвай, проехал несколько, затем захотел выйти; видя, что я, как это делали иные, хочу спрыгнуть на ходу вагона в обратную движению сторону, пассажиры остерегли меня, но я, не поняв, в чем дело, не послушался; естественно, эффект был плачевный: затылком я так крепко хватил о мостовую, что почти лишился сознания.

Прохожие подняли меня и еще долго учили, как прыгать. Трясущимися ногами поплелся я далее, побывав на Дерibasовской, Ришельевской, удивляясь завитым зеленью террасам кафе, вынесенным на тротуар, магазинам с огромными окнами из цельного стекла; подолгу выстаивал я перед японскими вазами, фарфоровой китайской посудой, грудями серебряных часов, насыпанных на стеклянные полки, как картофель, рассматривал картины, костюмы, экзотические витрины, полные вещей из резной слоновой кости, дорогих шкатулок, тканей и оружия. Кокосовые орехи, мангустаны, ананасы, персики, попугаи, обезьяны, альбеты, костюмы, прозрачные цветные портсигары из целлулоида – модные в то время, лакированные черные табакерки с цветной картинкой на крышке, щиты табачных магазинов, покрытые узором папирос и сигар... словом, я пересмотрел все, спускался даже по Ланжероновскому спуску к портовым грязным лавчонкам, где таял при виде матросских блуз, лент, тельников и сеток, носимых кочегарами. А в кармане моем было два рубля тридцать копеек.

Как был я легкомыслен, вернее – беспечен тогда, таким остался я и теперь. Памятуя, что в Южной Америке пьют вино, курят сигареты, я купил бутылку дешевого красного вина за сорок копеек (тогда я еще не знал о существовании винных погребков, где мог бы выпить кварту за двадцать копеек) и десяток сигарет, воняющих каленым копытом; еще купил полфунта сала, маленький пеклеванный хлеб. Разыскав свое подворье, я предался кутежу; к вечеру у меня адски заболела голова. Между тем пришел Малецкий, сообщив, что поступил на пароход Российского общества транспортов, но не матросом, а за плату учеником. Он забрал вещи и скрылся, а я завидовал ему и страдал расстройством желудка от кислого вина, в которое, кстати сказать, насыпал толченого сахара.

Как наступили сумерки, я, надев свою широкополую шляпу, сошел со знаменитой «Дюковской лестницы» в порт, в легкие сумерки, обвеянные ароматом моря, угля и нефти. Я волновался и трепетал, словно шел признаваться в любви. Я дышал очарованием мира, полного чудес на каждом шагу, но все окружающее подавляло меня силой грандиозной живописной законченности; в ней чувствовал я себя ненужным – чужим.

У высокого, как дом (так казалось), парохода «Петр» я остановился, вздохнул и поднялся по длинной сходне на борт. Тут стояли два ученика с лентами через плечо. Они встретили меня насмешливым взглядом – эти высшие суще-

ства, свои пароходу и морю. «Нет ли у вас вакансий?» – выговорил я с трудом. Ученики высмеяли меня, уже не помню точно, в каких выражениях, – кажется, «поповская шляпа», «семинарист», что-то в этом роде; задеты были и мои болотные сапоги, до бедер длинные, с ремешками под коленом. Дрожа от обиды, со слезами на глазах, я ушел прочь, посетил еще два или три парохода, везде получил отказ и выслушал наконец от одного серьезно отнесшегося ко мне помощника капитана, что у такого малосильного на вид, неопытного, одетого для морской службы смешно – в ученической курточке, – надежды попасть матросом нет никакой. «Учеником я вас возьму», – слышал я уже на другой день ответы, равные отказу, потому что у меня не было денег.

Пришибленный, я вернулся домой, переночевал, а утром нашел в Карантине ночлежный подвал, где жило несколько босяков и грузчиков. Плата была десять копеек за сутки. Здесь жили человек пятнадцать; спали все на нарах, ели в харчевнях. У меня осталось денег тридцать копеек, а между тем я решил последовать совету Малецкого – одеться как матрос, чтобы иметь больше шансов поступить хотя бы на дрянненький пароход.

Должен сказать, что перед отправлением из Вятки в Одесу снился мне три ночи подряд странный сон. Я стоял в правом проходе морского парохода. Ко мне подошел высокий старик с седой бородой, в белом тюрбане и азиатском костюме, стянутом широким дорогим поясом. Мы плыли на

Ялту или Яффу – неясно я знал это.

Старик смотрел на меня огненными глазами, говоря: «Когда пароход придет в порт, ты увидишь все дни шестнадцати будущих лет твоей жизни». С этим он дал мне мешок золотых монет, и я очутился у входа в темную гору, где открылась дверь. Едва я ступил за дверь, как начало мелькать бесчисленное количество комнат или каких-то помещений, через которые меня пронесло с быстротой вихря. Я видел множество сцен, лиц, но ничего не запомнил, лишь узнал, что это сцены будущих шестнадцати лет. Я вышел через последнюю дверь, и сон кончился.

При разнообразии и сложности своих снов вообще, в этом сновидении не вижу я ничего особенного, кроме того, что, узнав строение морских пароходов, я должен был признать полное сходство типа их крытых палубных проходов с тем проходом, какой видел во сне.

Единственный для меня способ достать денег был таков: продать что-нибудь из вещей. Я продал на базарном толчке за два рубля свою новую ученическую куртку, ремень с медной бляхой городского училища, серые полубумажные брюки, болотные сапоги. Едва ли выручил я за все двенадцать-пятнадцать рублей. Взамен я приобрел парусиновые штаны, белую матроску с синим воротником, тельник и ношенные башмаки, но не решился купить фуражку с лентой, считая, что не имею на то нравственного права, а потому ходил в соломенной шляпе. В отношении расхода своих гро-

шей я вел себя еще глупее: несколько раз тратил в парке по тридцать-пятьдесят копеек на стрельбу в тире из монтекристо, по пять копеек за выстрел (хотя сбил, однако же, шарик фонтанчика), то покупал апельсины и хорошие папиросы, то ходил обедать в «Обжорку».

На конце Карантинной улицы, против Ланжероновского спуска, находилось каменное здание с открытыми дверями, откуда шла вонь кухни и грязи, – знаменитая босяцкая столовая, прозванная «Обжоркой»; за ее задней стеной, в кучах мусора, жили «дикари» – окончательно голые босяки, пропившиеся дотла.

Внутри, за обитыми цинком столами, сидел на скамьях массовый посетитель этого заведения: босяки, грузчики, бродяги и пьяницы.

Борщ в фаянсовых мисках, с хлебом и требухой, отравленный красным перцем до слез в глазах и до ощущения в горле каленых углей, стоил шесть копеек; три копейки стоили макароны в бараньем сале, печенка или каша.

Поев, я шлялся в порту безрезультатно, всходя на палубы судов с предложением взять меня матросом, кочегаром или угольщиком; сидел в библиотеке, читая что-нибудь, или томился на скамьях бульвара.

Постепенно я ознакомился с гаванью. В Карантинной гавани были пристани Русского общества пароходства и торговли. Не помня теперь названия молов, я знал тогда, где стоят угольщики частных владельцев, пароходы Российско-

го общества транспортов, где останавливаются нефтеналивные пароходы «Блеск» и «Свет»; другие, кажется, «Айтер», «Гранвилль», «Боржом». Кому принадлежали они, я не знаю; кажется, надо думать, Русскому обществу П. и Т. Огромные пароходы Добровольного флота: «Саратов», «Петербург», «Воронеж» и другие – приваливали к соседнему с Карантинным молу. Вдоль набережной шел ряд парусников. Здесь стояли кормой к берегу греческие и турецкие суда – плоские, с широкой кормой и косыми парусами, часто цветными. Эти суда поражали грязью и яркостью нелепо-безвкусной окраски: голубая, желтая, зеленая, красная краски мешались в их очертаниях. Под бугшпритом этих фелюк висели наклонно деревянные фигуры ангелов, голых женщин, грифов и нептунов. В чалмах, фесках, обшитом золотом грязном тряпье бродили на палубах смуглые моряки архипелага. Фелюки напоминали грязную скотину; я не любил их, так же как не любил длинную цепь русских парусных шкун и «дубков», заполнявших огромную набережную на дальнем конце гавани. В сравнении с отчетливостью, разумным и красивым видом пароходов, а также больших парусных судов, стоявших на рейде, эти парии моря отталкивали меня, – я редко бывал в дальнем конце гавани, больше всего слоняясь между Карантином и волнорезом.

Здесь был мир иностранных грузовых пароходов – огромных и спокойных чудовищ, большею частью серого и темного цвета. Впоследствии я узнал, что побирающийся и без-

работный матрос всегда получит у иностранцев горсть белых галет, пачку табаку, кусок мяса. Но я, когда побирался, к иностранцам не заходил: мне было, должно быть, совестно – совестно объяснить знаками голод.

Территория порта была прорезана рельсовыми путями, окаймлена угольными и товарными складами. Ночью порт ярко озаряли торжественным белым светом дуговые фонари. Над земными рельсами шел воздушный рельсовый путь-эстакада, высокий помост, с которого из загонов грузились на пароходы хлеб и другие товары. Ночью грохот гавани замирал, но уже с раннего утра слышались крики грузчиков: «Вира! Майна! Хабарда! (берегись!)»; полуголые, в широких, до щиколотки штанах и грязных фесках работали на пристанях артели турок, называемых «агибалами», «агибалками». Каменные сортиры у входов на молы распространяли едкий запах карболки и хлорной извести. Теперь, насквозь прокуренный, я утратил остроту обоняния, но тогда все запахи гавани – камня, угля, железа, морской воды и нечистот – резко возбуждали меня.

Я выкупался один раз у основания мола, против лестницы (не знал, где надо купаться), на глазах у сбежавшейся к пароходу публики, и нашел, что морское купанье неинтересно. Вода была холодна, тяжела, на вкус солона и лекарственно горька. Хорошо видимое дно было здесь усеяно камнями, тряпками и жестянками. Впоследствии я купался за волнорезом и, войдя во вкус, купался раз по пяти в день, научив-

шись недурно плавать.

С закатом солнца на Карантинной улице начиналось вечернее беснование. Среди вони подгоревшего масла, пьяных растерзанных женщин, собак, среди грязной брани и рева детей, вдоль тротуаров, на тумбах, скамьях, у решеток подвалов располагалось рабочее население: грузчики, поденщики, босяки – с закуской и водкой. Одурев, большинство их расходилось по ночлежкам, остальные – в свои углы. Утром по глубоко лежащей мостовой с мостиками вверху, соединяющими края Карантинной балки, медленно ползли вниз вереницы подвод, запряженных парой волов; таща кладь, животные шагали крупно, шевеля трущее им загривки ярмо и ворочая головами с видом угрозы. «Цоб-цобе!» – кричали возчики, пуская иногда в дело тяжелый кнут.

Я прожил в подвале дней десять. На третий день, как я появился здесь, одно купанье едва не стоило мне жизни, а впоследствии причинило много неприятностей.

По всему маячному молу (волнорезу, ограждающему море от бухты) проходит толстая стена с сквозными нишами и внутренними лесенками, ведущими на верх стены. Наружная, то есть внешняя, сторона мола окаймлена неправильно торчащими *массивами* – кубическими камнями искусственного происхождения (смесь гальки и цемента), каждая грань камня – саженой длины. Здесь спокойная вода будет по шею купальщику среднего роста.

Однажды в пасмурный ветреный день я заплыл довольно

далеко от мола, не обращая внимания на поднявшееся волнение. Издали уже видел я, что мол опустел; белые взрывы воды кидались к стене, перехлестывая через массивы. Обеспокоенный, я пустился обратно и, приплыв близко к камням, очутился во власти волн. У берега волны были так велики, что, перехлестывая через массивы, били о стену. Отхлынув на момент, море просторно обнажало песок; я, вырвавшись из воды, бежал к массивам по дну более десяти шагов; едва я ухватывался руками за верхний край массива, чтобы подняться и выбраться, как – даже если я уже лежал на массиве животом, еле дыша, – убегающая волна смывала меня, несла далеко назад и снова мчала вперед. Мгновениями я не видел света, так как тонул с головой. Я почти лишился дыхания, наглотался соленой воды и после, пожалуй, получаса избиения водой о камни был вклинен особенно сильным валом между стеной и массивом. Чуть отдышавшись, я отполз, крепко цепляясь за камень, к ближайшему проходу и ногой очутился по ту сторону опасности, которая была велика.

Одежду мою унесло, смыло водой, руки и ноги кровоточили, ссадины ныли, голова болела от удара о камень. Я подобрал тряпку и, прикрывшись ею, несмело пошел вдоль набережной. Прохожие сурово отнеслись к такому костюму; некоторые ругались. Узнав, в чем дело, один грузчик пожалелся надо мной и дал несколько хлопковых покрывшек, сорвав их крюком с тюков. Кое-как обмотавшись, я добрался домой, где один сожитель отдал мне развалившиеся опорки

и старую кепку. У меня были старые штаны; моя матроска осталась дома (так как я вышел купаться в сетке), и я снова оделся.

Через день я заметил на левой ноге, спереди, между ступней и коленом, две небольшие язвочки, такая же появилась на правой ноге. Особенно не беспокоясь, я ходил каждый день купаться; соленая вода разъедала язвы, и дней через пять образовались три обнаженных места воспаленного гноящегося мяса, величиной в монету в две копейки. Вокруг них при нажиме на теле оставались ямки, как в мякише.

Я сходил на больничный прием; там я получил бинты и йодоформ.

Запах от этого лекарства, особенно при жаре, был таков, что жильцы и хозяйева-евреи стали посматривать на меня «со значением». Один старый бродяга, промышлявший ловлей бычков и сбором старого железа, заметив, что я делаю на дворе перевязку, прочел мне ужасную лекцию. Он заявил, что «это» кидается на голову, идет по спине, забирается в кости и разрушает желудок. Короче, он подозревал люэс. Напрасно я уверял его, что «это» не может быть; он продолжал пугать, и я вдруг поверил ему, потому что не знал медицинских указаний о природе сифилиса. Меня обуял страх; шатаясь, я бессмысленно пошел через двор и упал в обморок.

Меня привели в помещение, а вечером хозяйка заявила мне, что такого больного она держать на квартире не может – у нее дети, жильцы в претензии и т. д.

Проведя бессонную ночь, я утром снова пошел в больницу, где врач сказал, что бродяга просто болтун, не знающий, о чем говорит. Язвы были доброкачественные, от малокровия и плохого питания. Я успокоился, но в споры с хозяевами вступать не хотел – эти люди мне не поверили бы – и тут же решил воспользоваться наконец письмом неизвестного пассажира.

III

Я не знаю, что писал Кондратьев Николаю Ивановичу Хохлову, старшему бухгалтеру. Мое появление и письмо произвели некоторую сенсацию.

Веснушчатый, рыжий цветом лица и с глазами навывкате, Хохлов осыпал меня вопросами: «Почему не пришел раньше? Есть ли деньги? Как отпустили мальчика из дома без денег и знакомств?»

– Я хотел сам, – твердил я. – Я хотел устроиться сам.

Хохлов дал мне рубль. Его помощник, черный, болезненного вида тщедушный человек с бородкой, Силантьев, дал шестьдесят копеек, и они назначили мне прийти завтра. Нельзя теперь припомнить, до какой степени меня утешило и ободрило доброе отношение; я уже думал, что на днях буду служить матросом.

– Поди купи себе табаку! – сказали бухгалтеры, провожая меня.

Еще ночь я переночевал в подвале, а утром, захватив свои вещи, как велел Хохлов, был в конторе.

Хохлов послал за человеком, который вскоре явился. Это был высокого роста, странно прямо державшийся, пожилой хохол, несколько комического типа, бывший матрос. Теперь по болезни он жил в бордингаузе агентства, в так называемой «береговой команде». Матроса звали Кулиш, прозвище

было Дядька.

Короче говоря, Хохлов поселил меня в бордингаузе, на полном, кроме одежды, содержании (лишь выдали башмаки), без всяких обязанностей с моей стороны, впредь до получения службы, о чем обещал хлопотать среди знакомых капитанов.

Здание береговой команды помещалось в дальнем от гавани углу огромного двора агентства, ближе к Карантинной площади. Это был одноэтажный дом из четырех больших комнат, где, как в больнице, стояли койки и столы-шканчики. Рядом с домом было здание кухни.

Когда я потом присмотрелся, то увидел, что, кроме старожилы Кулиша, жильцы были не вечные: заболевшие, оставшие от рейса, вернувшиеся из побывки дома, в деревне; были и такие, кто долго плавал раньше на пароходах общества, – ждал вакансии. Всего жило здесь человек двадцать, и их места занимали новые.

Ящик, обитый цинком, полный белого хлеба, стоял у стены; каждый брал себе сколько хотел.

Мне выдали общий месячный паек: четверть фунта чаю, пять фунтов сахару и полфунта недорогого табаку.

Моя койка стояла в первой, самой большой комнате. У меня были три простыни, байковое одеяло, подушка; я застлал кровать и устроился.

Всем, кто меня спрашивал, я рассказывал свою нехитрую повесть, которая, по-видимому, вызывала недоумение

и очень мало доброжелательства. Более других я сошелся с задумчивым бородатым кочегаром; он был тих, его опухшее белое лицо заставляло подозревать болезнь. Однако он жил здесь потому, что находился под следствием. Суть его дела я знал, да забыл.

В этом доме я чувствовал себя одиноким, чужим. Кулиш называл меня не иначе, как «паныч». Иногда мне обиняком давали понять, что считают меня поселенным здесь затем, чтобы доносить в агентство о жизни призреваемых. Часто надо мной смеялись и издевались, – верно, я был, должно быть, смешон среди этой прожженной братии. Суть насмешек я вспомнить не могу, но бывал я часто разобижен до слез.

Среди матросов было несколько военных; их желто-черная лента на фуражке не нравилась мне; я признавал только черные ленты с отпечатанным золотом на их конце якорем. Эти матросы ожидали назначения на пароходы Русского общества. Они плавали за жалованье, как и частные люди, а начальство размещало их на частных судах для практики заграничного плавания. Утром мы пили чай с хлебом и куском сала; в двенадцать часов дня приносились жестяные баки с чудным борщом; только на море умеют так варить борщ. Кусок вареного мяса и жаркое – тоже мясо или баранина – заканчивали обед. По воскресеньям давалось что-нибудь третье: сырники с сахаром, компот.

Ужин состоял из остатков борща, макарон или каши.

Встав утром, я после чая отправлялся бродить по гавани, пытаюсь добыть место матроса. Куда я ни заходил, везде получал отказ; наведываясь в контору к Хохлову, слышал одно: «Еще ничего нет, потерпи».

Время от времени оба бухгалтера, встречаясь со мной на дворе, вручали мне мелочь – сорок-шестьдесят копеек на табак, но я всего прокурить не мог (я курил тогда еще не затягиваясь дымом как следует), а потому тратил деньги на апельсины, орехи и изюм.

Однажды, проходя по гавани, я встретил около парохода «Мария» (Р. О. П. и Т.), делавшего крымско-кавказские рейсы, Малецкого. Он плывал на «Марии» учеником, на своих «харчах» (как-то так выходило по штату продовольствия) и, заведя меня в свое крохотное помещение – род косо́й каюты, где трудно было повернуться, угостил копченой воблой. На другой день, когда этот пароход уходил в рейс, я с грустью смотрел, как Малецкий, везя ленточками, суетился у сходни, таща канат. Среди оживленной, хорошо одетой толпы пассажиров он казался мне героем, но воспоминание о вобле что-то мешало мне завидовать Малецкому.

Был случай, когда я «чуть-чуть» не поступил на огромный белый керосиновоз «Блеск», отправлявшийся через Ла-Манш в Петербург. «Блеск» погиб в Ла-Манше – от шторма или пожара, не помню. Я просил, чтобы меня взяли хотя бы угольщиком, и старший механик внял слезным просьбам моим, но у меня не было разрешения от отца плыть за грани-

цу. Однако механик обещал дело устроить, и на другой день – к отплытию – я пришел с надеждой, но, увы, опоздал на час: только что взяли угольщика. Таким образом я остался в живых.

Другой случай подобен этому: в Практической гавани долго стояла замечательной красоты яхта «Вега» – большое океанское судно, с отделкой красным и ореховым деревом, с снежно-белыми джутовыми снастями. Там капитан также обещал взять меня матросом – хотя бы сначала без жалования, но, походив на «Вегу» дня три, я узнал в конце концов, что нанят настоящий матрос. Его видел я: спокойный, скучный, серый; рабочий, но не моряк душой – не путешественник. Этому человеку завидовал я сильно и горько.

День за днем я бродил по гавани и скучал. Жара, угольная пыль, отходы и приходы судов, морская даль – все гнело меня ужасной тоской. Я избегал часто писать отцу, потому что нечего было сообщать; сочинять также не было повода. Отец прислал мне разрешение – нотариальное – на заграничное плавание, и оно без пользы лежало у Хохлова. Раза два Силантьев спросил у меня, не хочу ли я подработать – катать вагонетки с хлопком, за что платили рубль двадцать копеек в день. Но взяться за дело грузчика казалось мне концом всех мечтаний о плавании. Я отказался, говоря, что не хочу отнимать у себя времени для поисков места. Он не настаивал, а я снова начал ходить по Одессе, гавани, уже без особого пыла, как ходит уставший охотник, видя дичь, но растратив

заряды.

Самыми любимыми витринами на больших улицах были для меня витрины табачные, витрины художественного магазина, где висели длинные, подвесные, для простенок акварели, изображавшие зеленоватую солнечную рябь моря, с парусами лодок вверху, и витрины китайского фарфора. Еще я охотно разглядывал выставленные в окнах сельскохозяйственного магазина модели сеялок, веялок, плугов и т. п. Но в те времена для меня зрелищем было все.

Особенности приморской жизни мне нравились. Многие из населения носили красные фески, чувяки; карманные платки были большею частью цветные, живую домашнюю птицу таскали связанной за ноги, головой вниз, но это возмущало меня. Из хлеба я отметил большие плетеные «халы», не столь, по-моему, вкусные, как пяточковые пеклеванные хлебцы. Невкусный черный хлеб пекся в длинных формах. На хлебе наклеивались печатные ярлыки с обозначением пекарни. Рыночные торговки продавали вареные кукурузные колосья, мне не любезные. Так называемая французская курительная бумажка имела вокруг обложки резиновый волосок. Бумага была очень тонка, а потому я с трудом научился свертывать папиросы. В большой моде были дешевые лакированные табакерки, черные, из папье-маше, с цветной картинкой на крышке: генерал, красавица или тройка. Празднично одетые матросы, гуляя, выпускали из-под фуражки особо уготованный парикмахером крендель волос, что назы-

валось «Скандебообр, или Переход через Черное море». На площадках большой лестницы из двухсот десяти широких ступеней, ведущей от порта к памятнику Дюка, то есть герцога Ришелье, продавались океанские раковины, трости, резные изделия из мыльного камня, грубые картинки, папиросы и т. п. Я часто ходил на Дерибасовскую в прекрасный городской сад, в парк – за Карантином, бродил и по разным улицам, но в общем город знал плохо.

Городом для меня был порт.

Жизнь мою отравляли все увеличивавшиеся язвы ног. Ноги ныли, чесались, язвы гнили, имели вид кругло выгрызенного мяса. На втором посещении врача больницы я получил вместо йодоформа цинковую мазь, которая не пахла. Для перевязок мне приходилось тайно от сожителей бинтовать ноги в сортире, на дворе или за помостом, куда сгружался из вагонов хлопок, а мазь прятать под матрац.

В конце августа мне наконец повезло. Старший помощник «Платона», парохода Российского общества транспорта, согласился взять меня учеником за плату восемь рублей пятьдесят копеек за продовольствие.

Я распрощался с Хохловым, Силантьевым, своими сожителями, продал пару белья, купил матросскую шапку и новую ленту, гласящую на лбу «Платон», и почувствовал, что я наконец моряк. Пока «Платон» грузился, я выпросил письмом у отца десять рублей, присланных телеграфом, и заплатил восемь с полтиной.

«Платон» стоял и грузился дней восемь.

IV

Боцманом на пароходе был тщедушный пожилой украинец с воровским и угодливым лицом, злое животное, не любившее учеников. Капитан, сравнительно молодой человек, мною забыт, но я хорошо помню двух матросов, учеников Херсонских мореходных классов – Врановского и Козицкого. Оба они были матросы первого класса, то есть рулевые; оба поляки, гонористые и вороватые.

Врановский носил матросскую одежду, а Козицкий, ранее плававший на английском пароходе, подражал англичанам: носил кепи, тельник под бушлатом и курил трубку; при выходе на берег надевал пиджачный костюм и узенький розовый галстук. Безусый, розоволицый, с голубыми навывкате глазами, он принадлежал к несколько «бабьей» породе, мне неприятной. С Врановским я сошелся близко.

Еще в Вятке я полюбил мелодию герцога из «Риголетто»: «Если красавица в страсти клянется...» Врановский умел, свернув бумажку трубочкой, искусно высвистывать на ней всякие вещи, особенно он любил «Если красавица...». Кроме того, Врановский кое-чему меня учил: как называются снасти, как вязать разные узлы, называл мне «технические» части судна, объяснял сущность ведения корабля по компасу.

Из остальной команды я помню двух братьев-нижегород-

цев, красивых людей великорусского типа, с мягкими русыми бородами. В качку, как ни странно, оба валялись больные морской болезнью, но их не рассчитывали.

Морская болезнь ужасно пугала меня. Я не знал, подвержен я ей или нет. Матросы – в насмешку, надо полагать, – советовали мне есть грязь с якоря – будто бы помогает.

Я не раз упоминал о насмешках, об издевательствах. Кроме того, что на пароходах в отношении новичков существует этот вид спорта, – сказывалось, надо думать, внутреннее мое различие с матросами. Я был вечно погружен в свое собственное представление о морской жизни – той самой, которую теперь испытывал реально. Я был наивен, мало что знал о людях, не умел жить тем, чем живут окружающие, был нерасторопен, не силен, не сообразителен.

Иногда, хлебнув чаю, я плевался: там была кем-то насыпанная соль или был брошен в чайную кружку полуфунтовый кусок моего же сахара.

Если по рассеянности я клал шапку на стол кубрика – она летела в угол: неправильно класть шапку на стол.

Я относился серьезно, обидчиво не только к брани или враждебности, но и к шуткам, конечно, грубым, что вызывало удовольствие моих мучителей.

Подделываясь к команде, Врановский с Козицким всегда принимали сторону шутников.

Когда чистили «медяшку», то есть медные части судна: поручни, решетки люков, дверные ручки, боцман заставлял

меня тереть и тереть без конца, хотя уже медь, что называется, горела. «Костью чисти, Гриневский», – говорил боцман. «Как костью?» – глупо удивлялся я. «Так три, чтобы мясо на руках до костей сошло».

При мытье палубы, которую растирали щетками, я подвергался как бы случайному обливанию из шланга и постоянным бранчливым замечаниям, что медленно мету палубу или слабо тру ее щеткой.

Однажды вечером, не имея спичек, я не достал их ни у кого. Надо мной пошутили: «Гриневский, прикури от лампадки» (перед иконой всегда горела лампадка). Не видя в том ничего особенного, я влез на стол и прикурил (икона висела на столбе, поддерживавшем палубу юта).

Тотчас же я получил удар в скулу. Это сделал боцман. Я кинулся на него с ножом, но был обезоружен матросами. Оказалось потом, что это было подстроено по уговору, и напрасно я кричал, что виноват тот, кто научил меня прикурить от лампадки, – боцман твердил: «Ты сам-то не понимаешь, что ли?»

Не прошло часа после моего появления на «Платоне», как боцман поставил меня на вахту у сходни. Нельзя придумать занятия легче для новичка, но мое самолюбие было задето – я хотел работать как матрос, стать сразу матросом. О том я заявил старшему помощнику.

Тогда меня после обеда посадили на подвесную к борту доску, рядом с Врановским – соскребать железным скребком

старую краску. Я с увлечением принялся за работу и устал как собака. На другой день мне пришлось убирать и мести в трюме, чистить «медяшку», мыть палубу, то есть работать как матросу. Кроме того, произошло так называемое «перетягиванье»: пароход подтягивали канатами, вручную, к другому месту мола.

По непривычности мои руки стали болеть, на ладонях появились водяные нарывы (мозоли). Пальцы плохо сгибались. Но хуже всего такого был послеобеденный отдых; он продолжался с двенадцати до часу дня; этот час включал также обед, после которого властно тянуло ко сну. Короткий сон так морил и расслаблял, что с отвращением я начинал опять работать.

Скоро началась погрузка. Я был снова поставлен к сходне, но уже не жалел об этом – единственно хотел бы я управлять лебедкой.

День проходил знойно, шумно. В восемь часов утра баковый колокол звонил к завтраку (он продолжался полчаса), в двенадцать – к обеду, в один час – на работу. В шесть часов вечера колокол звонил – конец рабочего дня – двумя ударами.

Я хотел звонить в колокол, но мне не давали делать это, так как требовалась отчетливость сильного двойного удара по обоим краям небольшого колокола. Впоследствии пришлось звонить; однако не так хорошо, как другие.

Теперь я вижу, как я мало интересовался техникой мат-

росской службы. Интерес был внешний, от возбуждающего и неясного удовольствия стать моряком. Но я не был очень внимателен к науке вязанья узлов, не познакомился с сигнализацией флагами, ни разу не спустился в машинное отделение, не освоился с компасом. Я думал, что все знания явятся впоследствии, постепенно, сами собой.

Однажды, поздно вечером, четыре матроса отправились в город; среди них Врановский; я с ним отделился от других. Мы пошли по Дерibasовской улице; там в толпе гуляло много матросов, и я был очень доволен, что у меня на спине лежат концы лент, а лоб открыт.

В другой раз я был днем свободен (по праздникам не работали) и зашел в Публичную библиотеку. Смотрю: вошел также Козицкий. Я взял «Неистового Роланда» Ариосто; Козицкий взял что-то ученое. «Что ты читаешь?» – спросил он меня за столом. Я сказал. «Ты все глупости да сказки читаешь, – пренебрежительно заявил он. – Вот что читай, это лучше» – и он показал какое-то сочинение по политической экономии, но, важно поглядывая вокруг, отдал книгу конторщице и ушел; а я стал также зевать над Ариосто и тоже ушел.

Наконец погрузка была кончена, утром пароход заполнился толпой пассажиров, среди которых было много армян, бежавших из Турции после неистового погрома армян в Константинополе (в 1896 г.), когда турки, как говорили, вырезали не менее ста тысяч человек.

До отплытия я красовался у сходни, но никто не обращал на меня внимания.

Гудки проревели, сходни на таях лебедки были спущены, и пароход отвалил.

Сердце мое трепетало и плыло вдаль. Я пошел на бак, к бугшприту, чтобы смотреть вперед без помех. Когда прошли маяк, волнение начало качать пароход килевой качкой. Первый момент было странное ощущение под ложечкой, однако я оказался не подвержен морской болезни, что с торжеством сообщил всем матросам.

Трудных работ в плавании не было. Палубу, загруженную товаром и пассажирами, мыть было нельзя, чистить медь тоже. Все держали вахту по очереди – по четыре часа смена: рулевой на мостике, один матрос на палубе, на корме, другой вахтил при вахтенном помощнике, стоявшем наверху; матрос бегал туда по свистку за распоряжениями. На приказанья надо было отвечать: «Есть!» – и это мне нравилось.

С вечера, как темнело, на бак, к колоколу, ставился еще вахтенный. Этот следил огни в море и должен был звонить: слева огонь – один раз, справа – два раза, впереди – три удара.

Переход к Севастополю в открытом, без берегов, море, при сильном волнении; вид стай дельфинов, несущихся быстрее парохода, их брызгающие фонтанчики, белые брюха, темные спины, их тяжелые выскакивания – все действовало упоительно. Ночью при качке было приятно спать, при-

ятно было ходить, покачиваясь, смеяться над тем, как тошнит слабых пассажиров. Нечто настоящее начало совершаться вокруг; все начало отвечать своему назначению: плыть.

Понемногу я знакомился с интересами и рассказами матросов. Они, то есть интересы, сосредоточивались на доступных женщинах, пересудах о начальстве, на выпивке, портовых сплетнях.

Некоторые песенки я запомнил; например, первую строфу модной тогда:

Крутится, вертится
Шар голубой.
Крутится, вертится
Над головой.
Крутится, вертится,
Хочет упасть,
На барышни на голову
Хочет попасть...

Потом такая песня:

Вот вхожу я в Дюковку,
Сяду я за стол;
Скидываю шапку,
Кидаю под стол;
И в тебе я спрашиваю:
И что ты будешь пить?
А она мне отвечает:

Галава балыть!

Я ж в тебе не спрашиваю:

Що в тебе балыть,

А я в тебе спрашиваю:

Що ты будешь пить?

Альбо же пиво, альбо же вино,

Альбо же «Фиялку», альбо нычево!

В прошлом году итальянский пароход «Колумбия» столкнулся с пароходом «Владимир» Р. О. П. и Т. «Колумбия» потопила «Владимир» и ушла, не приняв на борт гибнущих. Погибло триста человек.

Долго еще в Одессе пели:

Та-а-ра-ра-бумбия!

«Владимир» и «Колумбия» – а-а!

«Владимир» погибает,

«Колумбия» ти-к-а-а-ет!

Я помню начало такой песни:

Адес, Адес! страна родная!

Из матросских рассказней я помню хорошо три: о греке-поваре на одном пароходе Добровольного флота, который умел гадать. У одного матроса пропал кошелек с деньгами. По просьбе жертвы кражи повар взял сито, нацепил его висеть на ручку уполовника, отметил край сита чертой и заго-

лосил басом: «Сито, а сито, скажи: кто узял гроши?» Присутствовала вся команда. Сито само повернулось и уставилось чертой против вора.

Сенсация!

Про того же повара говорили, что он разговаривал со своими кушаньями, например: «Соуси, соуси, не чопуритесь, соуси!» (то есть не сопротивляйтесь). Или: «Та це вы, баклажаны, дурни, аж не видите, що я горилку дую?!»

Один преподаватель Анапских мореходных классов так матерился, что и весь класс начинал его материть, а дело кончалось дракой.

У боцмана Хоменко, на пароходе «Херсон», была складная металлическая стопка: стоило предложить ему выпить, как он растягивал свою стопку трубкой и опивал таким образом угощающего.

Еще на стоянке в Одессе к нам в обед приходил безработный матрос, молодой, стройный, сильно загорелый и изрытый ospой человек. Он ел с нами дня три. Впоследствии я встречал его на купанье за волнорезом и узнал, что его расчетная книжка *замарана*, то есть в ней отметка за воровство. Поэтому он не мог никуда поступить.

Это был лучший пловец в Одессе. Он нырял с камня саженой на пятьдесят вперед, оставаясь под водой более двух минут.

Его бронзовое угреватое тело было почти сплошь покрыто чудно сделанной красной, черной и синей татуировкой,

большей частью непристойного содержания.

Говорили, что он сутенер. Но он был всегда деликатен, сдержан и держался с достоинством.

V

«Платон» шел круговым рейсом, то есть заходя во все порты, даже такие, где не было пристани; там выгрузка производилась на фелюки; пассажиры уезжали на лодках.

Принимая участие в выгрузке и погрузке, матросы получали пять рублей с тысячи пудов груза. Я не мог работать – был малосилен таскать пятипудовые мешки, хотя бы в трюм, чтобы положить их на строп лебедки.

В таких случаях меня посылали в трюм только присматривать за береговыми грузчиками.

Я успевал сходить на берег, делая это по разрешению или без разрешения. В Севастополе заинтересовали меня больше, чем броненосцы, так называемые «поповки» – желтые круглые плавучие батареи с широким низом; мне сказали, что «поповки» строил инженер Попов в 1853–1855 годах.

Я поднялся прямо вверх по крутому склону, недалеко от вокзала; устал, немного походил в этой части города и, не зная, что делать дальше, вернулся на пароход.

Огни вечерней Ялты поразили меня. Весь береговой пейзаж Кавказа и Крыма дал мне сильнейшее впечатление по рассыпанным блистательным созвездиям, – огни Ялты запомнились больше всего. Огни порта сливались с огнями невидимого города. Пароход приближался к молу при ясных звуках оркестра в саду. Пролетел запах цветов, теплые по-

рывы ветра; слышались далеко голоса и смех.

Я без разрешения ушел в город, но проходил недолго – боялся брани. Передо мной шла вверх узкая полуосвещенная улица, по ней спускалась кавалькада: дамы в амазонках, мужчины в цилиндрах, смуглые татары. Пронесся запах духов; молодые, возбужденные экскурсией женщины громко говорили со спутниками по-французски.

Я чувствовал себя стесненно, чужим здесь, как везде, но еще сильнее, – чуть ли не столбом тротуара. Мне было немного грустно, и я вернулся на пароход.

Долго я слышал памятью «члок-члок» копыт и видел красные лица дам, небрежно прильнувших, сбоку коня, к седлу.

Остальная часть рейса – вид портов и характер остановок – мною забыта, кроме не исчезающего днем с горизонта шествия снежных гор, – их растянутые на высоте неба вершины даже издали являли вид громадных миров, цепь высоко вознесенных стран сверкающего льдами молчания.

Лишь о Батуме я помню одну мелочь: боцман говорил, что тамошние хозяева винных погребов, грузины, держат вино в мехах и дают пробовать его бесплатно.

Еще по иллюстрациям к «Дон Кихоту» я пленился живописным видом бурдюков (мехов), а потому сходил в Батуме к грузину-духанщику, где, точно, на камнях и подставках, как толстые туши, лежали эти меха с вином. Но духанщик налил мне на пробу только треть стакана красным вином, и оно мне

так не понравилось, что я больше «пробовать» не ходил.

По возвращении в Одессу «Платон» стоял там неделю, и как уже подошел срок моим восьми с полтиной, то старший помощник начал требовать с меня деньги.

Я отговаривался тем, что дважды писал отцу и на днях получу деньги, но был страшно встревожен: по возвращении в Одессу я точно получил письмо отца, но такое, что надежд на деньги у меня не было. Правда, в письме лежала трехрублевая бумажка. Отец писал, что денег он посылать больше не может – «старайся сам». Он жаловался на дороговизну, многосемейность, нужду, и я знал, что все это правда.

Мне нечего было продать, чтобы набрать восемь рублей пятьдесят копеек, к Хохлову обращаться я стыдился. Я очень жалел, что перед первым отплытием продал одному матросу свое полосатое байковое одеяло за четыре рубля (оно стоило десять рублей) только для того, чтобы купить одну из прекрасных фарфоровых китайских чашек. За нее я заплатил два рубля пятьдесят копеек.

Надо мной смеялись. «Ну, зачем тебе чашка?» – спрашивали Врановский и другие. Но я не мог объяснить им то, что плохо понимал в себе сам: жажду красивых вещей.

Еще очень нравились мне узкие ножи в ножнах, небольшие, с прямой ручкой из отшлифованного пестрого камня, вывозимые из Греции. Такой ножик я купил у Козицкого за полтора рубля, а он платил за него восемьдесят копеек.

Подступил срок отплытия, и старший помощник, накану-

не отхода, еще раз сказал: «Надо платить вперед или уходить». Я обещал всякую нелепицу, втайне надеясь, что обо мне забудут. Действительно, разговор не поднимался больше об уплате; забыл помощник или решил ждать – я сказать не могу; второй рейс, так или иначе, я совершил.

Рейс оказался трудным. Ранние холода этого года, резкий северный ветер и штормы, при отсутствии теплого платья, так выстудили меня, что, бывало, ночью на вахте я весь трясся, то и дело бегая в кубрик греться, хотя рисковал подвергнуться наказанию. Матросы, зная, что я не уплатил и плыву в некотором роде зайцем, пугали меня: «Гриневского ссадят в Севастополе; помощник сказал...», «Гриневского ссадят в Керчи», «Ссадят в Батуме»; «ссадят... ссадят... ссадят...» – скребло у меня на сердце весь путь до Батума, пока мы не пошли обратно.

Желая смягчить начальство (которое оставалось равнодушным), я бросался везде, где работали, где был нужен и не нужен; ворочал брашпиль, тащил канаты, «койлал» (свертывал) их на юте и баке, замерзал, нес вахты. Кто-то дал рванный овечий полушубок, скорее пиджак из одних сырых кож, скорее напоминающий собрание пластырей, чем одежду, но мне стало легче. Иногда утром (на обратном пути) скользко было ходить по обледеневшей палубе, <<приходилось>> хвататься за промерзшие снасти.

На этом обратном пути я ради какой-то надобности прицепил к шкерту дубовое ведро с медными обручами и пустил

в волны; узел развязался, ведро осталось дельфинам. Тогда боцман приказал мне достать ведро, где хочу, – купить или украсть – мое дело, но иначе заберут остаток моих вещей (ведро стоило три рубля). Ведро я достал в Одессе, но об этом потом.

Самой тяжелой историей, разыгравшейся на «Платоне» в тот рейс, была история пьянства и трюмной кражи, произведенной Врановским и Козицким.

Произошло это так.

В Феодосии палуба парохода была нагружена большими бочками вина и стадом овец – штук двести. Чтобы овцы не бегали и не сбивались в кучу, между ними по палубе устроили перегородки из досок; бочки стояли вдоль бортов, а также в проходе между лебедкой кормового трюма и стеной входа в машинное отделение.

Часов около десяти вечера, при сильной качке, я, Врановский, братья-нижегородцы и еще два матроса рассматривали медную трубку, которую показал нам боцман. Известно, что в таких случаях (а что-то было уже решено без меня) люди, особенно бывалые, объясняются наподобие муравьев – более трением незримыми «усиками», чем точно сказанными словами. Особо прямого ничего сказано не было, только боцман предупредил, чтобы сделали дело осторожно; сам он пить не пошел.

Свистал адски холодный ветер, темно было, как в животе черной кошки. Вахтенный помощник ни видеть нас, ни слы-

шать не мог.

Мы пробрались за машинное отделение. Один матрос просверлил буравом бочку, вставил в отверстие медную трубку – и дело пошло. В бочке был крепкий портвейн. Кто прикладывался сосать, тот отходил не скоро. Слезы от крепкого винного духа, тепло и головокружение напали на меня, когда я по очереди раза три приложился к этой материнской груди.

Не столько от количества выпитого вина, сколько от дыхания спиртом из бочки, мы все скоро охмелели до чрезвычайности. Сели, стали закусывать. Начались хохот, шутки и очень громкие уговаривания вести себя тише.

Вахтенным на палубе был я. Мне пришла удачная мысль доить овец – попить парного молока. Все поддержали меня. Начали ловить во тьме лохматых животных и щупать, где у них вымя. Доить решили в фуражку. Перепуганные овцы сломали перегородки и начали скакать, дико бляя, по спавшим над трюмами палубным пассажирам.

С мостика раздался свисток. Я стал ввинчивать по трапу наверх и предстал перед старшим помощником, ухмыляясь вполне бессмысленно.

– Что за шум? Что такое?

– Это овцы, – сказал я, – овцы, и больше ничего.

– Гриневский, ты пьян?

– Зачем же пьян? Я не пьян.

– Ну, дохни.

Дохнул.

– Так. Кто там с тобой?

Я сказал.

– Что вы делаете?

– Да ничего. Сидели, курили.

Вахтенный помощник приказал позвать боцмана, старшего матроса и Врановского. Пришлось нам признаться, что перепились из бочки (которой жулик боцман сосредоточенно заколотил свежую рану клепкой), а на другой день в кубрике был произведен обыск – оказалось, что из нескольких ящиков в трюме, которыми ведал Врановский, пропало пять штук сукна.

Незадолго перед этим Врановский дал мне и Козицкому много дешевых конфет и папирос. Они лежали в наших ящиках. Материй не нашли, но нашли эти папиросы и конфеты – их Врановский тоже украл.

Его допросили; он признался и вернул сукно, зашитое им в свой матрац, а также спрятанное частью под кубриком, среди хлама. По отношению к пившим вино командир ограничился строгим выговором, а Врановского и Козицкого (тот тоже участвовал в похищении товара), из сожаления к ним, не предали суду, но уволили по приходе в Одессу.

– Никак не ожидал от Врановского, – слышал я разговор старшего помощника с механиком. – Хороший матрос, держал себя всегда с гонором.

Предложено было уйти и мне как не имеющему чем пла-

тить. Но я уже приготовился к этому.

Боцман со старшим матросом требовали восстановить ведро – «иначе изобьем насмерть». Что делать? К «Платону» пристал борт о борт пароход «Петр». И вот, обуреваемый смелостью отчаяния, днем, наученный так поступать тем же боцманом, я – среди толкотни публики и грузчиков – на глазах у всех, взошел на мостик «Петра», вынул из гнезда дубовое ведро с литерой «П» и вручил оное боцману. Ведро, конечно, покрасили и присвоили, но, как улик не было, напрасно матросы «Петра» попрекали нас кражей – боцман меня не выдал.

VI

Мне ничего не оставалось, как идти снова к Хохлову. Так я и сделал, и, сжался надо мной, бухгалтеры опять поселили меня в здании береговой команды, хотя, не стесняясь, высказывали удивление – почему мой отец не поддерживает меня, раз я уже начал плавать? Но всегда трудно правильно оценить чужие отношения. Для этого надо было знать моего отца, прошедшего юношей тяжелую школу трехлетней тюрьмы после восстания шестьдесят третьего года, его сибирскую ссылку, его манию самостоятельности сына и его идеалы «труда, пользы обществу, помощи старику отцу». Во многом отец был наивен, как и я; должно быть, он думал, что мне найти работу и работать довольно легко. Главное – малое жалованье (шестьдесят рублей), вечные долги и пятеро детей.

На этот раз я прожил в бордингаузе целый месяц и по очереди ходил сторожить на мол склады, но только ночью.

На молу было светло как днем, часто хотелось спать, однако тому мешали контрольные часы, которые надо было заводить через каждые пять минут. Ноги тяжело мучили меня – раны увеличивались, икры опухли. Не падая духом, я по-прежнему обходил, день за днем, гавань, пытаюсь найти место матроса или кочегара.

В бордингаузе жил тогда временно кочегар Иванов. Это

был тихий молодой человек с чистым белым лицом и близоруко щурящимися глазами, русый; причесывался он гладко назад, к затылку; одевался в синее, как вообще кочегары: глухой синий пиджак (китель) из синей дабы и такие же брюки.

Ему пришлось быть послушником на старом Афоне; к монастырю его вообще тянуло. Я с ним сошелся; он и Василий Иванович были единственные, кто меня не травил.

К тому времени мои отношения с Кулишом, всегда подзадоривавшим и дразнившим меня, стали враждебными. Без пикировки не обходилось ни одного дня. Он звал меня «паныч» – в насмешку, конечно; твердил при других, что Хохлов – мой «дядька», то есть дядя, создавая тем ложное положение. Он твердил, что отец от меня отказался, что я «малыхольный» (то есть «меланхолик» – ненормальный), «псих», что я «лодырь» и т. п. Вспылив, я бранил его самыми непотребными словами.

Этот Кулиш несколько лет назад был до полусмерти избит командой своего парохода за то, что утаил пять тысяч рублей золотом, украденных сообща из почтовой каюты. Грудь его была разбита, ребра сломаны – оттого-то он держался неестественно прямо. Не знаю, чем он обошел следствие по тому делу, но его не трогали, а он даже считался у нас «старшим» и получал пенсию. Был слух, что в парке на одном дереве висят эти спрятанные Кулишом пять тысяч рублей, но мало кто верил такому слуху. Эта темная история была мне

неинтересна.

Многого не помню, приведу лишь пример пикировки (скорее перебранки):

– Ты что, скаженный (проклятый), опять мою ложку взял?

– Та они же одинаковы.

– Одинаковы... одинаковы! Мать твоя одинакова.

– Заткни фонтан, огибалка, босяк!

– Ах ты... в гроб печенку... (и так далее, по всем частям организма, включая религиозные и моральные категории).

Кнек проклятый («кнек» – чугунный постав, вокруг которого обматывают канат). Кнек! Кранец! Банберка (большой поплавок).

– Матрос с погоревшего корабля!

– Малахольный!

– Тебе галюны (сортиры) чистить, а не борщ жрать!

– Ты голодный, на тебе кусок, подавись.

– Одинаковы!.. Та у моей ложки конец зарублен, на вот, чи бачишь?

Бывало сильнее, бывало слабее. Но пикировка обязательно кончалась отвратительной руганью.

Не знаю, что выдумывал обо мне Кулиш за моей спиной, но дело кончилось плохо: однажды Кулиш загадочно сообщил, что Хохлов требует меня к себе. Он и Силантьев сидели в отдельной комнате конторы.

По лицу Хохлова я сразу увидел, что он разозлен.

– Вот я пришел, – сказал я.

– Скажи, пожалуйста, – грубо сорвался Хохлов, – какой это я тебе «дядя»?

– Вы мне не дядя. Я не понимаю...

– Ты нагло врешь! Ты всем говоришь, что я твой «дядька» и что я сделаю тебе все, что ты только захочешь.

– Кто вам сказал такую чепуху?

– Кулиш. И я верю ему.

Разыгралась безобразная сцена. Мои объяснения, что Кулиш сам называл Хохлова «дядькой», что он клеветает, – ничему не помогли. Хохлов кричал, что я испорченный человек, я плакал и кричал, что «вы с Кулишом оба сумасшедшие, если так», что Кулиш негодяй; Хохлов кричал, что Кулиш – честнейший человек, а я на него клеветчу. Силантьев хотя поддерживал Хохлова, но очень сдержанно – видимо, сочувствовал мне.

Как я узнал потом от Иванова, разросшаяся сплетня о родстве с Хохловым обратила меня в незаконного сына бухгалтера, и это взбесило взбалмошного, но, по существу, доброго человека. Еще обиднее, быть может, казалось ему, что (по словам Кулиша) я называю его «рыжий дядька».

Я настаивал, и Кулиш был вызван. Произошла очная ставка. Кулиш нагло утверждал, что автор сплетни – я. Задыхаясь от негодования, я осыпал его справедливыми упреками и видел, что поколебал мнение Хохлова о себе, – однако, по предложению Хохлова, из бордингауза мне пришлось уйти. Я получил лишь разрешение хранить временно свои вещи в

команде.

Переночевав в порту под балками эстакады, я утром пошел в больницу, где, осмотрев мои ноги, фельдшер положил меня в хирургическую палату. Здесь было немного больных – среди них несколько матросов – кто без руки, кто без ноги; были также страдальцы с вырезанной челюстью и больные раком. Несколько почти здоровых парней бродило по палате, гогоча, задирая друг друга и флиртуя с сиделками. Один из них, помягче и деликатнее прочих, оказался мой земляк, вятский крестьянин, он плавал матросом на «Петербург» Добровольного флота, а теперь ожидал операции: надо было вырезать под мышкой жировой нарост. Его звали Федор. Широкое, курносое и рябое лицо Федора располагало к нему. Он относился ко мне хорошо и старательно защищал меня от больных, которые меня как новичка в больнице приняли было на штыки разных проделок. Из них одну я запомнил: ночью меня разбудил торжественно и грустно один такой «больной» и сказал шепотом, чтобы страшнее было:

– Подвинься, Гринеvский, надо положить мертвого; сейчас принесут.

Я не был труслив, а мертвецов вообще не почитал причиной паники; кроме того, заподозрил мистификацию.

– Пусть несут, – заявил я. – Кладите, места хватит.

Раздалось тихое пение «Со святыми упокой, господеви», и из дверей показалась процессия: несколько человек несло завернутый в простыню «труп». Впереди, со свечкой в руке,

шел, тщательно закрывая лицо, какой-то тип. «Труп» торжественно положили рядом со мной, и я почувствовал, что мертвец теплый, даже чуть шевелится.

– Вставай, довольно дурака валять! – закричал я. Тогда мертвец воспрял и начал скакать козлом, а затем вместе с другими он кинулся на меня; озорники перекатывали и щекотали меня, а я так рассердился, что стал бить кого и как попало, и Федор наконец прекратил это ночное безобразие, разбудившее труднобольных; «пикировка» долго звучала под потолком палаты.

В более ужасной больнице мне не приходилось лежать. Порядки городской одесской больницы были известны всем в городе. Больные сами мели, сами натирали пол; халаты – короткорукие, рваные и нечистые; колпаки не по головам; жесткие постели и лепешки-подушки, набитые слежавшейся соломой; грубые простыни и редкие изношенные одеяла; нечистоплотные, грубые служащие; хулиганство больных и произвол старшего врача, кричавшего на больных, выгонявшего, если не ели скверную пищу, – все это действовало угнетающе, особенно при воспоминании о прекрасной земской больнице в Вятке. Лекарства не стояли на столиках у кроватей, а просто в определенные часы коновал-фельдшер обходил палату со склянками в руках и каждого заставлял глотать, что полагалось по его списку. Явное воровство правилу этим домом. Кто же поверит, что, собирая с пятисоттысячного населения – ну, допустим, хотя двести тысяч руб-

лей больничного сбора (шестьдесят копеек в год с человека – обязательное постановление), нельзя было бы нас кормить иначе, чем арестантским супом и слегка тронутым постным маслом, вдобавок пересушенным при «жаренье» картофелем. Кто там у них получал молоко, яйца, кисель, манную кашу – я не знаю, может быть, и получал, как чудо, но мы были всегда голодны и всегда беспокойны.

Предположение операции, пугавшей меня, – отпало; как-никак перевязки, мытье ног, малое движение и лекарственные мази заживили дней через пятнадцать мои ноги; опухоль рассосалась, раны сузились и затянулись струпом; тогда я попросился на выписку, с облегчением покинув эту больницу.

VII

По выходе из больницы мне ничего другого не оставалось, как влачить голодное существование, подобно прочим париям порта, ночующим в ночлежных домах, где я теперь ютился и сам. Ночлежных домов было в Карантине два или три – не помню. Не разрешалось оставаться в ночлежке дольше восьми часов утра, поэтому приходилось идти мерзнуть на улицу. Наступила холодная солнечная осень, и, лишенный теплого платья, я часто заходил греться в «Обжорку», в трактиры. Работать на выгрузке я не мог – не хватало силы, а грузить уголь, то есть катать его в тачках, меня не брали, хотя я и выходил несколько раз к босяцкому наряду возле угольных складов.

Совершенно не могу припомнить, как я питался тогда; едва ли я даже «питался», я систематически голодал, изредка выпрашивая на пароходах кусок хлеба, изредка обедая с матросами. Для этого надо было в двенадцать часов дня стоять возле борта парохода, у бака; почти всегда, видя маячащего, вздыхая, бродягу, матросы кричали: «Иди, бери ложку!» – или отдавали остатки обеда. Раз я так обедал на «Платоне» среди старых знакомых; однажды латыш с парохода из Либавы позвал меня в кубрик, дал кофе с молоком, хлеба и сала, и я наелся досыта. Свои башмаки я променял на опорки, брался за соби́рание старого железа, продавая его по одной

копейке за фунт, пытался «стрелять» у прохожих с весьма плачевными результатами, потому что, стыдясь, не был никогда убедителен в своих обращениях.

Так промучился я недели две, не оставляя, однако, попыток получить место, обходя всякие суда, даже презренные «дубки». Сидел я как-то на набережной в конце гавани, где стояло много этих «дубков», и смотрел, как грузят на «дубки» черепицу, соль, арбузы. Тут подошел ко мне старик шкипер, украинец, и спросил, не хочу ли я поступить на его судно «Святой Николай», которое послезавтра, если будет ветер, пойдет в Херсон. Конечно, я с радостью согласился. Жалованья на готовой пище дали мне – увы! – шесть рублей. Спорить не приходилось.

Я сбегал в бордингауз, притащил свою полупустую корзину с вещами и сунул ее в кубрик под треугольник нар. Кубрик – вернее, сырое, полутемное гнездо – отсек бака, с малой дырой под бугшпритом, пропускавшей свет сквозь стекло, как в подвал.

Весь день я помогал шкиперу и его сыну, молодому хохлу с черной бородкой, грузить черепицу, а вечером был приглашен хозяевами пить чай. Мы отправились в ближайший трактир с органом. Старик купил баранок, сала, забрал мой паспорт и выдал мне один рубль задатка. Теперь я назвал бы это авансом, но остерегусь – чтобы не получить случайно где-нибудь этот рубль – только один рубль.

Старик и его сын были одеты тепло – в новые овчинные

бушлаты сырой кожи, высокие сапоги, смушковые шапки, простеганные ватные жилеты и бумазейные рубахи.

На другой день снова грузили черепицу. Промерзнув ночью в кубрике – хотя свалил на себя все, какие нашел, обрывки брезента и мешки, – я бегал проворно, что ящерица, день был теплый; я даже вспотел. Мы (я и два грузчика) загрузили до верха трюм и уложили остаток черепицы на палубе так высоко и универсально, что она (черепица) загромождала палубу до края бортов, и негде было ступать, кроме как ходя по черепице.

Хозяева жили на корме в каюте с плоской крышей, где было тесно и грязно. Румпель ходил над крышей, где, то есть ходя по крыше и ворочая румпель, по очереди вахтили отец и сын. Середину палубы занимала маленькая кухня с железной печкой. Бочка с пресной водой стояла у каюты; в каюте хранилась провизия – бочонок солонины, крепкие, с дырочками, галеты, сало и хлеб. Чай пили кирпичный, из большого чайника.

Я исполнял обязанности матроса и повара. Хорошо еще, что украинцы на завтрак не ели горячего. Они ели много; я готовил им с утра на весь день (топил дровами) котел борща с серыми макаронами, с салом, иногда жарил солонину. Лук и картофель были. Затем я на ужин разогревал эту гастрономию.

Я зажигал фонари: зеленый – с правого борта, красный – с левого; зажигал мачтовый фонарь, стряпал, кипятил чай,

колол дрова, вахтил на баке и почти не спал, а когда спал, то дрожал от стужи. Хозяева помыкали мной как собакой; ругали, издевались над неповоротливостью. Естественно, что, шагая по черепице, иногда раздавишь одну-две, – но нет, сын кричал: «Босьявка, це будут твои ридные», то есть он вычтет двенадцать копеек за каждую черепицу из жалованья.

На завтрак, обед и ужин (хозяева стояли у руля поочередно, по четыре часа каждый) мне говорили, какой части, какого румба держаться по компасу, и я минут пятнадцать-тридцать заменял рулевого.

Сын был хуже – ехиднее, жесточе отца.

Я почти не спал. Ночью выдавалось несколько часов сна, однако спать на голой доске с черепицей под головой, укрываясь брезентом, – дело плохое. Подозреваю, что был простужен несколько дней. Резкая полуштормовая погода, очень холодная, развела такие валы, что «Святой Николай» не раз касался бугшпритом волн. Поплескивало и на палубу. Все же рейс прошел благополучно, и на рассвете шестого дня плавания «Святой Николай» плыл уже в низовьях Днепра – в днепровских гирлах. Это был мир камышовых островов с лазурно-стального цвета протоками, вскоре залившимися алым светом низкого солнца.

Все стало розовым – заря, камыши, вода; нигде я не видел берега, а если видел, то не узнавал его, принимая за острова. В этом дремуче-зеленом, ярко пылающем зарей мире зеленые отражения под водой, отражения встречных парусов, зо-

лото с вином солнца и торжественная белизна свивающихся из туманов озаренных облаков – сверкали, как изображение полного счастья рукой природы, и теми средствами, какие даны ей.

По гирлам мы плыли долго, при слабом ветре, и после двенадцати дня бросили якорь у Херсона, у набережной.

Я заявил «сыну», что служить такую собачью службу за шесть рублей больше не буду, и потребовал расчет. Хозяева с руганью подсчитали «мои ридные» черепицы – по их счету получилось, что я раздавил товару на рубль двадцать копеек; один рубль взял задатка; служил десять дней; выходит, что не они мне, а я должен им двадцать копеек.

Забрав свою корзинку, я пошел в рыночную чайную, вблизи берега, напился за последний гривенник чаю, отправился к портовому городовому и заявил ему, что хозяин не хочет уплатить деньги.

Совет городского, а также слушавших это объяснение бывалых людей был таков: надо идти в «Водяную муникацию» (коммуникацию?). С помощью прохожих я разыскал требуемое учреждение; там меня выслушали и велели прийти со шкипером, чтобы разобрать это дело.

Я возразил, что шкипер, конечно, не пойдет добровольно. Чины развели руками, пожали плечами. Возвратясь к «дубку», я начал звать идти со мной и «сына» и «отца»; в ответ, естественно, выслушал одну брань, а городской, к которому я обратился за помощью, ограничился новым советом: по-

дать в суд.

Дело кончилось ничем; я устал, плюнул и засел в чайной, где было тепло. Стоял мороз, градуса четыре-пять, без снега, при ярком солнце. За длинными столами чайной бабы и мужики аппетитно пожирали накрошенные в большие белые чашки (полоскательные) помидоры с луком, облитые постным маслом, уксусом, посыпанные перцем.

Было шумно, тесно. Иногда оставались недоеденные куски хлеба, и я подбирал их. Однажды, видя это, сердобольные женщины наспех состряпали мне такой же «рататуй» из помидоров, отрезали полхлеба и надавали копеек пятнадцать медью. Смысл их восклицаний сводился к скорби о том, что такой молоденький, жалостный матросик клацает зубами от стужи и голода.

Буфетчик согласился хранить мою корзинку, и под вечер я отправился в ночлежный дом, а утром сел без билета на небольшой колесный пароход «Одесса», шедший в Одессу. Буквально замерзая в полотняной блузе своей с синим воротником, весь путь я простоял, сунув плечи и голову в окно кухни, дыша банным теплом и съестными запахами. Никто не бранил меня за безбилетность, наоборот, я встретил даже сочувствие, а повар, который, как мне казалось, с раздражением относился к моему торчанию в окне, наподобие поясного портрета, – после захода солнца влил в жестяной бак полведра борща, бросил туда фунта три вареного мяса, дал целую булку, ложку, и я, скромно выражаясь на деликатном

наречии южан, – «покушал». Я все съел; меня от еды ударило в пот.

Пароход пришел к молу поздно вечером. Не зная, куда девать корзинку, я упросил стрелочника поставить ее в его будку и переночевал в соломе за конторкой Российского общества транспортов, между ящиками и досками. Мне удалось не замеченным сторожами вползти под край брезента, покрывающего товар, так что я защитился от ветра, но почти не спал, все тело ныло и стонало от холода.

Утром я был близок к отчаянию. Я отправился, забыв о всяком самолюбии, в контору к Силантьеву, и тот отнесся ко мне очень тепло, при хмуром ворчанье – может быть, тоже тронутого моим положением – Хохлова, который сказал: «Я умываю руки; возитесь с ним, если вам нравится».

Силантьев дал мне свой адрес и, наказав прийти в шесть часов вечера, ничего больше не объяснил и сунул полтинник.

VIII

Дождавшись вечера, я позвонил у черной двери второго этажа на незапомненной улице. Меня встретила худенькая приветливая женщина лет тридцати пяти, с помятым маленьким лицом и украинским акцентом, – жена бухгалтера; провела меня на кухню, где были приготовлены чугуны с кипятком, таз, мыло, полотенце, белье и поношенный, но приличный костюм (темный), рубашка (синяя) была с мягким отложным воротничком, а к ней модный тогда галстук-шнурок. У плиты стояли шевровые ботинки.

Волнуясь, радуясь и стыдясь, я кое-как вымылся, затем оделся, а свои тряпки завернул в газету.

Хозяйка позвала меня выпить чаю. Скоро должен был прийти Силантьев. В маленькой столовой за столом, сидя против белого самовара, вкушая сладкий чай, я разомлел – устал от сытости, тепла и внимания.

Вскоре пришел Силантьев, с довольным видом посматривая на меня, – видимо, тронутый сам событием, которого был он автор.

Хотя разговор не клеился, но был тепл, полон моих благодарностей и наставлений мне – беречь вещи, для чего Силантьев советовал мне идти не в ночлежный дом, где много воров, а просидеть ночь в ночном трактире.

Прощаясь, Силантьев доделал последний штрих: снял с

вешалки шелковое кашне и надел мне на шею.

Я вышел; дул ледяной ветер, и я, хотя был в пальто, однако промерз, пока прибежал в трактир на Карантине.

Как жена Силантьева подарила мне двадцать копеек, то я заказал чаю, купил папирос и провел бессонную ночь, страшно устав.

Тут я был свидетелем игры в карты. Вначале за столом играли четверо каких-то бродяг – скорее портовых рабочих; затем один ушел; из оставшихся трех – двое играли особенно азартно.

Проиграв последний гривенник, «А» срывал с себя тельник, ругался в гроб и печенку и бросал вещь на стол; «Б» поспешно оценивал ее, выигрывал и тем же путем отнимал у «А» брюки, подштанники, шапку, башмаки и складной нож. После того, достаточно осмотрев телосложение «А», фортуна свидетельствовала «Б»; «А» постепенно одевался, радостно урча про гроб и печень, а «Б» постепенно раздевался, горестно рыча «в гробовое рыдание» и «могильную плиту».

Выигранные вещи они прятали под себя – сиделись на них.

За этими наблюдениями кое-как прошла ночь, а на рассвете я отправился искать угловую квартиру.

На углу Почтовой и Карантинной я заметил объявление: «Сдаеця койка» – и зашел в третий, во дворе, этаж.

К моему удовольствию, я встретил там своего будущего сожителя – кочегара Иванова; недавно покинув бордингауз,

он работал теперь в литографии, получал двадцать рублей ежемесячно.

Квартира состояла из двух комнат и кухни; наша комната была проходной.

У стен стояли – одна напротив другой – две койки; вторая пустовала, а стоила она два рубля в месяц.

У хозяйки – прачки, разбитной тридцатилетней хохлушки с рябинами вокруг носа, – был одиннадцатилетний сын.

К хозяйке под воскресенье и другие праздники приходил ночевать на две ночи ее любовник, электротехник городского театра.

Мы сговорились, и я отправился к Силантьеву. Он познакомил меня с заведующим складами, плотным, хорошо одетым человеком в каракулевой шапке, – Мисенко; тот сказал: «Хочешь работать маркировщиком? Тогда приходи с полдня, после обеда».

Так я начал работать в складах, получая рубль десять копеек в день, а если работы не было на полдня или меньше – то шестьдесят копеек.

Надо упомянуть, что, забрав у стрелочника свою корзинку, я обнаружил пропажу моей драгоценности – китайской чашки. Правда, корзина была без замка, лишь завязана, но отрицать вину мог только такой прохвост, как этот стрелочник. Я долго стыдил его, а он утверждал, что ничего не знает о чашке.

Работать приходилось, к сожалению, не каждый день. Зи-

мой пароходы часто задерживались или приходили с таким грузом, при каком маркировщику делать было нечего. Например, коринка: мешки с коринкой приходили без марки.

«Марка» есть условное обозначение литерами груза по принадлежности его тому или иному получателю. Каждая марка груза – мешки, ящики, тюки – складывалась в пакгауз отдельно, чтобы не спутались товары.

Я стоял у входа в пакгауз и смотрел марки на ноше, тащимой грузчиками. Груз лежал у них на спине. В зависимости от марки, я кричал рабочим: «Прямо к стене! К стене налево! В угол направо! Посредине!» и т. д.

Эта работа требовала полного внимания, потому что носильщики вбегали с ношей через три-пять секунд и марки иногда были похожи.

Здесь я также подвергался насмешкам босяков: вначале за свой вид «интеллигента», затем потому, что препятствовал мелким кражам из дыр мешков или разбитых ящиков. Меня дразнили «попович», «поповская шляпа», «фараон», «фискал», хотя я никому не доносил о проделках грузчиков, а, наоборот, видя, что таскают все – и грузчики, и бондари, и таможенные, – сам начал носить домой апельсины, фисташки, лимоны, миндаль, коринку; однажды унес даже кусок краски – индиго, фунта два.

Артель бондарей, на обязанности которых лежала починка разбившихся ящиков, зашивка дыр в мешках и т. п., часто не упускала случая сунуть за нагрудник своих белых пе-

редников горсть миндаля, или точенных из черного дерева четок, или пригоршню кофе. Таможенные или смотрели сквозь пальцы, или шептали: «Ребята, осторожнее»; выбрав момент, они сами брали что-нибудь для хозяйства.

Вероятно, поэтому я и не помню случая, чтобы таможенный у ворот при выходе грузчиков на обед или после конца задержал хоть одного похитителя с явно оттопыренными карманами или лапами их «польт» (как иначе назвать верхнее тряпье босяков?).

Грузчик, уличенный в краже, изгонялся Мисенко, и его больше на работу не брали – по крайней мере, пока не забывалось это деяние.

Я любил пряный запах пакгауза, ощущение вокруг себя изобилия товаров, особенно лимонов и апельсинов. Все пахло: ваниль, финики, кофе, чай; в соединении с морозным запахом морской воды, угля и нефти неопишимо хорошо было дышать здесь, особенно если грело солнце.

Я иногда ходил обедать домой, тратя из полуторачасового отдыха почти час на ходьбу и еду (хлеб, сало или колбаса с вареной картошкой... м-м-м... ну, апельсины, случалось), а большей частью проводил это время в бордингаузе или в здании таможни. Чай я тогда пил мало, и крайне редко – водку.

К вечеру, совсем закоченев (зима стояла холодная), я становился в ряд с грузчиками, а Мисенко, проходя наш строй, вручал из мешка – рубль и гривенник.

Ранней весной мне удалось совершить рейс в Алексан-

дрию на пароходе Р. О. П. и Т. матросом, но по недостатку времени я должен отложить эту в своем роде интересную историю до печатания всей книги. Скажу лишь, что уволили меня за сопротивление учебной шлюпочной гребле: этому бессмысленному занятию предал нас капитан «Цесаревича», пленившийся артистической работой веслами английских моряков.

Дело произошло в Смирне, на обратном из Александрии пути. В наказание (а я публично высмеивал потуги капитана и однажды бросил даже весла) меня сняли с работы, и я окончил путь пассажиром, ничего не делая.

На мне осталась хорошая одежда, полный комплект тельников, голландок, две «фланельки», двое брюк – белые и черные. Некоторое время я жил продажей этих вещей, потом работал на погрузке угля; часто, не имея пристанища, ночевал в порту.

Все было уже продано мной – даже моя корзинка, даже краски, которыми хотел я рисовать на берегах Ганга цветы джунглей.

Я сохранил лишь на своем теле голландку с синим воротником, тельник, черные брюки и фуражку с лентой, имевшей надпись золотыми буквами: «Цесаревич».

В начале июля меня потянуло домой. Я получил разрешение капитана одного угольного парохода ехать на нем «за работу» до Ростова-на-Дону. Из Ростова я, также за работу, проехал до Калача-на-Дону; из Калача проехал шестьдесят

верст по железной дороге в Царицын, а из Царицына плыл в Казань то «зайцем», то с разрешения; в общем, пересаживался раза три.

В Казани молодой капитан вятского парохода «Булычов» взял меня проехать бесплатно до Вятки и, кроме того, угостил меня в своей каюте прекрасным ужином. По его распоряжению я в дальнейшем ел с матросами.

Из-за перекаатов пароход остановился там же, как когда я отправлялся в Одессу, – двести верст от Вятки. Эти двести верст я шел неделю пешком по жидкой грязи: лил непрерывный дождь, подсекаемый студеным ветром.

Утром, на восьмой день этого шествия, засияло солнце, и стало почти жарко. Вдали уже виднелся голубой купол собора. Я выстирал свою голландку в ручье, почистил башмаки, обсох, умылся, вычистил брюки и к первому часу дня шел уже по деревянным тротуарам города, обращая на себя внимание прохожих.

– Где же твой багаж? – спросил отец после первого радостного напряжения и любопытства встречи.

Как я уже солгал ему, что проехал двести верст на почтовых лошадях, то, естественно, прилгнул и еще:

– Мой багаж остался на почтовой станции... Знаешь... Понимаешь... Не было извозчика.

Отец, жалко улыбаясь, недоверчиво промолчал; а через день, когда выяснилось, что никакого багажа нет, спросил (и от него пахло водкой):

– Зачем ты врешь? Ты шел пешком? Где твои вещи? Ты изолгался!

Очень многое мог бы я возразить ему, если бы умел: и ложное самолюбие – эту болезнь маленького города, и нежелание мириться с действительностью, и, наконец, желание пощадить, хотя бы в первый день, отцовское чувство.

Вскоре, однако, отец, что-то продумав, повеселел и начал водить меня в гости – показывать сына-моряка.

Тогда я еще не считал конченной свою морскую жизнь, а потому сам ободрился и с увлечением рассказывал о шторме под Порт-Саидом и тому подобное, тщательно обходя все унижительное, что пришлось вынести за этот год самостоятельной жизни.

Баку

I

По возвращении из Одессы я прожил дома до июля 1898 года. За это время я всячески пытался найти занятие: служил писцом в одной из местных канцелярий, переписывал роли (для театра), некоторое время посещал железнодорожные курсы, был банщиком на станции Мураши (шестьдесят верст от Вятки), переписывал, по заказу отца, ведомости годового отчета земства – относительно земских благотворительных заведений... Но не было в жизни мне ни места, ни занятия.

И я решил искать счастья на стороне – подальше от унылой, чопорной Вятки, с ее догматом: «быть как все».

Теперь невозможно припомнить, почему меня тянуло в Баку. По-видимому, я рассчитывал снова плавать на пароходах. Насколько я сравнительно хорошо помню, что было в Одессе, настолько не все ясно относительно Баку; хотя главное – холод и мрак этого отчаянно тяжелого года – удержаны памятью.

Итак, я отправился в Баку. Близко к концу июля. Весь мой капитал составляли данные отцом пять рублей, плетеная корзинка с необходимым бельем, подушка и старое одеяло.

Еще по пути из Вятки в Казань заметил я подвижного человека с бритым, мятым лицом, окруженного дрессированными собачками, – то ехал клоун Горлинов, а ехал он в Саратов, кажется, по вызову антрепренера Саламонского.

Я узнал Горлинова потому, что видел, как на арене вятского цирка он изображал сцену «Отелло и Дездемона», – очень потешно и, по-своему, талантливо.

Клоун ехал в третьем классе, с ним три дрессированные собачки. Как он занимал скамейку у стены кают первого класса, то публика, а особенно дамы губернаторского семейства, ехавшего в Казань, восхищались фокусами собачек и заигрывали с ними.

На этом основании Горлинов составил подписной лист, всучил его одной из дам и с довольным видом пересчитывал часа через два около пятидесяти рублей.

– Я бедный артист, – говорил он мне, – остался без денег: антрепренер был жулик.

Горлинов вел компанию с одним чиновником, ехавшим в Саратов искать службу; они вместе пили пиво и водку.

В Казани я имел неосторожность пойти с ними в трактир. Там, по расчету, вышло с меня два рубля. У них были деньги, а я скрепя сердце отдал последние (оставил на билет до Астрахани рубль сорок копеек – не хватило, а потому наспех продал матросу рубашку за шесть гривен да полтинник призял у клоуна).

Дальше ехать мне было тревожно и скучно: я жевал сухой

хлеб с чаем, а Горлинов, накупив колбасы, водки, копченых стерлядей, пиршествовал, угощал иногда меня и говорил:

– Эх, господа, господа! На пустяки (то есть на трактир) денег вы не жалеете, а на жратву жалеете.

По-видимому, он не верил, что я остался без денег.

Некоторое время я приставал к нему, чтобы он устроил мне службу в цирке, но из этого ничего не вышло; по словам клоуна, труппа и штат служащих были уже наняты. Но он просто не хотел возиться со мной.

Он остался в Саратове, а я, продав еще что-то из белья, доехал до Астрахани, где начал хлопотать в каком-то (не помню уже) учреждении о бесплатном билете в Баку, но такового не получил и воспользовался советом одного босняка: доехать до так называемого Двенадцатифутового рейда на маленьком, только туда ходящем пароходе, а там попроситься на морской пароход за работу.

Дело это мне было знакомо, я так и сделал.

Двенадцатифутовый рейд оказался улицей на воде; я прибыл туда поздно вечером, и у меня осталось впечатление иллюминации в море: огни пристаней, барж, пароходов сияли сверху и – отражениями – внизу.

Без особого сопротивления старший помощник парохода, отходящего в Баку, взял меня ехать «за работу». Я работал и ел с матросами.

Палуба была полна туземцев: персов, шемахинских татар, армян и грузин. Меня поразили их огромные, прекрасного

каракуля шапки: черные, белые, серые и золотисто-рыжие. А между тем стояла изнуряющая жара.

Один матрос рассказал мне, как воруют эти шапки. «Привяжем мы, – говорит, – к нитке рыболовный крючок и ночью, когда татарин спит, вцепим крючок в мех, а сами отойдем с другим концом нитки подальше, начнем тихонько тянуть – глядишь, шапка как бы сама к тебе пришла».

II

В Баку я сошел на пристань, не зная, что делать.

В ночлежный дом мне идти не хотелось, и, продав кое-что из одежды на так называемом Солдатском базаре, я поселился за рубль пятьдесят копеек в месяц у одного старика грузчика. Он жил с женой и маленьким, месяцев десяти, сыном. Жена его была молодая женщина, а старику насчитывался восьмой десяток лет, но он был жив, проворен и каждый день работал по выгрузке леса со шкун, приходящих из Астрахани.

Одноэтажный дом, где я жил, находившийся вблизи Черного города, был построен большим квадратом и обнесен, по стороне двора, навесом на столбах. Тут было до тридцати квартир из одной-двух комнат, занимаемых рабочими, мастеровыми, проститутками и старьевщиками.

Каждый день в каком-нибудь углу двора стоял круг игроков в «орлянку». Эта игра была сильно развита среди рабочего населения, и потому о ней следует рассказать.

Самые серьезные игры происходили накануне праздников, по субботам, воскресеньям и понедельникам. Полиция преследовала «орлянку», вследствие чего игроки сходились на дворах или в пустынном месте – где-нибудь за углом глухого переулка. Случалось, что полицейский забегал во двор, тогда орлянщики улепетывали со всех ног, бросая постав-

ленные на «кон», то есть в круг, деньги; бывало, что полиция захватывала часть игроков.

Крупнее всего играли котельщики, получавшие по три копейки с заклепки (две, две с половиной и три копейки, смотря по тому, где и как происходила работа), токари, слесаря и мастера цехов. Так же крупно играли шулера и профессиональные игроки – хорошо одетая публика, в дорогих костюмах, блестящих ботинках, цветных поясах, в каракулевых шапочках или синих картузах.

Игра сопровождалась таким отборным букетом матерной брани, при выигрыше и при проигрыше – безразлично, что я, как ни любил смотреть на игру, не выдерживал игрецкого красноречия и уходил, чтобы очистить уши от мерзостей блудословия.

Мне приходилось видеть круг, уставленный столбиками золотых монет, кучками серебра и внушительными стопками кредитных билетов. Ставили по пятьдесят, сто и более рублей «на удар».

Ритуал «удара», то есть метания высоко вверх медного пятака (или серебряного рубля), состоял в том, чтобы сей пятак вертелся вокруг оси (отнюдь не «бабочкой» – лишь трепеща, но не переворачиваясь); чтобы не крутился «винтом» (тоже уловка для того, чтобы монета упала «орлом» вверх); чтобы летел как можно выше и чтобы эта «метка» (так назывался брошенный пятак) не была, хотя бы слегка, вогнута в сторону «орла».

Для проверки, для «счастья», наконец, просто по суеверию, каждый играющий мог поймать падающий пятак, удостоверить, что он «без фальши» – не «двухорловый», не выбит выпукло, и вернуть его метчику с тем, чтобы тот метал заново.

Один игрок держал «банк», другие ставили; выпал «орел» – метчик брал все; выпала «решка» – всем платил, а если у него не было, то бежал прочь, преследуемый до изнеможения. Его, поймав, избивали, но в тот же день можно было видеть избитого вновь у круга; он, где-то раздобыв денег, играл, клялся, ругался и потирал свои синяки.

Кроме «двухорловых» пятаков, пускались в ход шулерами пятаки, которые были просверлены по плоскости и залиты ртутью – ближе к «решке»; такой пятак на ровном песчаном месте ложился большей частью «орлом» вверх.

Иногда мальчишки, прицепив к пруту шлепок вара или смолы, просовывали удочку между ног игроков; шлепнув смолой по монете, жулик умыкал добычу бегом. Я отвлекся...

Прожив дня три грошами, вырученными за продажу своей скудной одежды, я уже имел вид настоящего босяка: ситцевая рубашка, старый картуз, бумажные коричневые брюки, опорки на ногах – вот все, во что стал я одет.

Я ходил на биржу поденщиков, где иногда получал работу. От этих случайных заработков память сохранила мне очень немного. Так, помню работу (два дня) на одном заводском

дворе, в сараях; я с другим босяком прибрали их, вымели, таскали какие-то трубы, перевешивали с места на место весы, блоки – за шестьдесят копеек в день. Другой раз я работал недели две на забивании свай для вдающейся в море пристани; я очень жалел, что эта работа кончилась.

На настиле, проложенном по концам уже вбитых в дно моря свай, стояло сооружение из двух вертикально поставленных бревен; между ними на канате поднимался ручным воротом массивный кусок чугуна. Когда этот груз поднимали к самому верху бревен, он срывался и бил тяжестью сорока пудов по концу вбиваемой сваи, отчего та сразу понижалась на вершок и более.

Я вместе с другими крутил ворот. Плата была восемьдесят копеек в день, расчет по субботам. Подрядчик приносил деньги и четверть водки; мы выпивали по стакану водки и расходились.

Работать у воды было очень приятно, не так жарко, и, главное, работа была тихая, механическая и однообразная. День проходил незаметно.

Случалось мне также попадать на работу в док, где я соскребывал краску с пароходов или таскал тяжести около стапеля.

Мои усилия восстановить подробности этого года в Баку сходны с усилиями припомнить ускользающий сон.

Уже через несколько дней, как я поселился на квартире старика грузчика, второй его жилец (мы спали с ним на по-

ду), тоже грузчик, повел меня выгружать лес с большой шкунны. В длину трюма были нагружены толстые бревна; их вытаскивали через квадратный люк кормы, устроенный возле руля. На этой страшно тяжелой работе я пробыл только четыре дня, после чего еле двигался от ломоты в крестце, ногах и плечах, – а платили неплохо: рубль двадцать копеек в день.

Вскоре мне пришлось оставить квартиру. Сожитель мой, грузчик Василий, был тяжелый, неразговорчивый человек, с темным лицом и ненормальными глазами; он был скуп, копил деньги и разговаривал мало, с трудом, слегка заикаясь.

Как-то в субботу Василий пришел вечером подвыпивший, чего с ним никогда не было; принес четверть водки, закуску и начал угощать хозяина. Они пили, пели, кричали, а вскоре Василий пригласил и меня; хозяйка тоже осушила стакан водки, после чего легла спать. Старик так напился, что падал на стол. Наконец, уже после двенадцати, он свалился спать в угол, без подстилки, а я лег на свое место; Василий тоже улегся, и лампа была притушена.

Мне не спалось. Я боролся с клопами и подремывал. Начав забываться, я очнулся: Василий лег на кровать к хозяйке, она, тихо голая, гнала его прочь. Эта милая сцена продолжалась несколько минут, после чего, утомясь уговаривать пьяного, бабенка повернулась лицом к стене, а Василий вполз на край кровати, лег и притаился. Должно быть, он пытался каким-то образом декларировать свою неутоленную страсть младенцу, спавшему между ним и женой старика,

потому что вдруг раздался отчаянный визг малютки и вопль разъяренной матери:

– Да ты что делаешь, подлец, мерзавец этакий?!

Столкнутый женщиной, Василий упал на пол. Старик проснулся; видя, что все вскочили, что-то смутно чувствуя, он впал в бешенство, схватил табуретку и кинулся на меня.

– Стой, стой! – закричал я. – Не там ищешь!

Старик бросился к Василию. Но тут сбежались жильцы, грузчика выволокли за ворота, выбросили ему его сундучок и начали бить, бить зверски – ногами, кулаками, камнями. И, когда он поднялся, на нем висели одни лохмотья и глаз не было видно.

Пошатываясь, Василий ушел, грозя кулаком, а дня через три хозяйка, в отсутствие мужа, сказала мне: «Знаешь, Лександра, съезжай и ты с квартиры; муж меня бьет – то на Василия думает, то на тебя».

Вечером я толково поговорил со стариком, убедил его в своей непричастности к мрачной истории, но из квартиры ушел, чтобы не тревожить ни себя, ни хозяев.

Пока было тепло, я ночевал где придется: в пустых котлах, лежавших возле заводов, на лесной пристани, под опрокинутыми лодками или просто где-нибудь под забором.

С наступлением холодных ночей я отправился, как ни противно мне это было, в ночлежный, благотворительного общества, дом. Плата взималась тройкая: пять копеек в общей комнате, десять копеек в комнате тоже общей, но почи-

ще, и двадцать копеек в так называемой «дворянской», где были отдельные комнатки с бельем и одеялом. Но я ночевал за пятачок.

В длинном помещении стояли ряды деревянных коек, накрытых камышовыми циновками («чакошками»). Ни «чакошки», ни койки, конечно, не мылись, а поэтому грязи и клопов было довольно. Двор неимоверно вонял, посреди него без всякого прикрытия устроены были над залитой асфальтом ямой цементные дыры для нечистот. Запах карболки, хлорной извести и мочи резал, как нож.

Ночлежники входили через каменную постройку, где была чайная и хранение вещей. Чайной заведовал странный тип, по-видимому не совсем нормальный, – из «административно высланных»; русский, с бородкой и мерзко-хитрым лицом, человек этот рылся в моем мешке, который лежал у него на «хранении» в ящике. Продав корзинку, я завел мешок, куда прятал остатки своих тряпок и тетрадь. В ней пытался вести дневник. Единственно помню, что я записал, между прочим, впечатление от одной фотографии, выставленной в витрине: фотография была снята с очень милой, серьезного типа девушки, и, кажется, я трактовал положение, что видеть такие лица – «облагораживает» человека. Так вот, этот заведывающий чайной начал в обычной площадной манере издеваться над моими размышлениями. «Неземная красота, – говорил он, нагло смеясь, – ангельская наружность! Влюбился в фотографию!» И тому подобное. Как, взбешенный, ни

ругал я его за то, что он лазил в чужой мешок, как ни стыдил его, говоря, что нельзя, позорно читать чужое, интимное, — он не смутился нисколько.

Проходимец этот впоследствии уверял меня, что он обладает секретом сразу и страшно разбогатеть.

— Для этого, — говорил он, — стоит мне только выйти на площадь и сказать народу одно слово — и я буду миллионер.

Он уверял всех, не только меня, что знает такое «петушиное слово». А какое это слово — не говорил.

За три копейки в ночлежной чайной давались фунт белого хлеба, чай и три куска сахара. Иногда, после голодного дня, это было моей единственной пищей плюс оставляемые на цинковых столах куски хлеба.

Среди босяков я помню еще Алексея. Голубоглазый, русский, очень приятной наружности, Алексей (раньше он служил где-то городовым) никогда не ругался, ни с кем не ссорился. У него было зеркальце, гребешок, мыло и бритва. Встав, Алексей умывался, причесывался, часто стирал на дворе свои рубашку и штаны, чистил слюной сапоги. Я никогда не видел его пьяным и не мог понять, как он попал в босую команду. Однажды Алексей рассказал мне свою историю: несчастная любовь и несправедливость по службе. Хотя на слово босякам верить было нельзя, все же я Алексею почему-то верил.

Второй запомнившийся мне человек был Егор, бродяга, неизвестного звания и темной профессии, горбоносый,

смуглый, лет тридцати, «стрелок». По его словам, он знал коновальное ремесло, умел гадать на воде, наводить «порчу» и знал, как получить «неразменный рубль». Все-таки рубля этого у него не было. Он рассказывал, как делаются фальшивые двугривенные: надо взять пару липовых дощечек, положить между ними новую монету и надавить их так, чтобы поверхности дощечек сошлись; затем в полученную таким образом форму вливалось растопленное олово, монета грязнилась, чтобы казаться старой, затем шла в ход.

В Баку часто попадались, как мне говорили, фальшивые серебряные рубли из посеребренного чугуна или стекла, поэтому я, подражая другим, всегда бросал полученный рубль на каменный тротуар с такой силой, чтобы хрупкие чугун или стекло раздробились, но фальшивого рубля не получал никогда.

Однажды я и Егор насобирали у прохожих около рубля, после чего нам захотелось попытать счастья в «орлянку».

На окраине за Солдатским базаром увидели мы большой круг орлянщиков и подступили к нему.

– Так вот что, – сказал мне Егор, – ты и я как будто пришли каждый по себе, не знаем друг друга.

– Зачем это нужно? – спросил я.

– А так... Примета такая есть.

Когда пришла очередь Егора метать, он, сообразно нашим средствам, отчеркнул палочкой несколько мелких ставок на пятьдесят-шестьдесят копеек и выиграл.

Все, кто «придерживал» за него остальные ставки (были и крупные), тоже, естественно, выиграли.

Наставили в круг еще больше. Егор отделил себе ставок на рубль, метнул и выиграл.

Раздались проклятия, ставки утроились. Егор метнул на три рубля, но кто-то подхватил на лету его пятак, взвизгнул и бросился на Егора, который, видя, что попался со своим «двухорловым» пятаком, уже удирает со всех ног.

Игроки отвели душу известного рода красноречием, забросили пятак за стену дома; вдруг один человек сказал, указывая на меня:

– И вот этот с ним был!

Я хладнокровно отрекся. Ко мне больше не приставали, а вечером в ночлежном доме я спросил Егора, почему он не хотел, чтобы я гласно был с ним в компании.

– Потому что ты дурак, – отрезал он. – Я взял на себя, тебе говорить не хотел... Ну а за что тебе морду исполосуют?

Совершенно правильно и по-своему вполне нравственно...

Еще Егор рассказывал, как он умеет ходить колесом, держа в зубах горящую головню, отчего мужикам страшно. Он верил в домовых, леших и уверял меня, что однажды видел огненного змея, залетевшего ночью по крыше в трубу какой-то бобылки. А теперь я думаю, что это горела сажа в трубе.

Как я подметил, босячество делилось на четыре разря-

да: административно высланные по проходному свидетельству, запойные пьяницы, бродяги по натуре и просто черно-рабочие. «Административные» редко работали, они больше занимались «стрельбой». Для «стрельбы» на улицах «стрелок» почти всегда заряжался водкой, и это понятно: пьяный он действовал смелее, теряя конфузливость, выдумывал и говорил связно, интересно врал, а то просто терпеливо и нагло преследовал жертву, пока она не совала ему мелочь. У «стрелков» имелись адреса состоятельных сердобольных людей; по этим адресам писались трогательные письма, почти всегда со ссылкой на «пострадал за убеждения». Также ходили по рукам образцы писем. Они переписывались за плату владельцу их. Вот начало одного письма, которое я случайно запомнил: «Милостивый благодетель, господин Иван Петрович! В тяжелой жизни моей, благодаря преследованию врагов за гонимую правду...» и т. д.

В конце неизменно приписывалось: «Заранее благодарный» (имярек).

Я сознательно описываю все встречи и типы, наиболее памятные мне, чтобы затем, без отступлений и вводных эпизодов, передать, что было со мной. Поэтому dokonчим начатую галерею. Как-то встретил я в духане покойно сидевшего за столом и набивавшего машинкой папиросы рыжеватого тихого человека лет тридцати; он был одет, по-босяцки считая, весьма сносно – в серый костюм и грязный воротничок.

Я вступил с ним в разговор. Он рассказал свою историю:

служил директором чайных плантаций в Закаспийском крае, но лишился места будто бы за то, что крупно повздорил с хозяином. Он уверял, что ему нетрудно будет найти и в Баку хорошее место. Багажа у него никакого не было. Так или иначе, я попросил его не забыть меня, когда он возвеличится, на что будущий мой патрон дал охотно согласие.

Однако есть, пить надо, а потому директор плантаций начал на другой день писать «стрелковые» письма, я же относил их указанным лицам: директорам, каким-то чиновникам, одной женщине (бывшей жене директора) и нескольким интеллигентам разного звания. Кажется, все это были знакомые директора или знавшие о нем. В нескольких случаях я получал по рублю, который обычно приносила прислуга; иногда – отказ, а одна женщина дала сразу пять рублей и потребовала видеть своего бродягу. У них состоялось свидание на улице, причем той женщины я не видел; не знаю, кто такая она была. За мои услуги «хозяин» давал мне мелочь, кормил и поил, но делиться поровну не хотел и вскоре куда-то исчез.

Теперь остается мне рассказать о купеческом сыне, Рваном Рте, Ваське Несчастном и Гришке Бабочке. Последний был мальчиком лет восемнадцати, довольно миловидным, с синевой под глазами; появился он в Сорока Духанах после субботы. На нем был новый дешевый костюм, шелковая рубашка и соломенная круглая шляпа. Гришка пил, зря швырял деньги, пропивал все, проигрывал в «орлянку» и исчезал снова, пропив даже костюм, – до следующего воскресенья.

Его сексуальным покровителем называли одного миллионера-нефтепромышленника, из татар. Гришке он платил (по его же словам, то есть словам Гришки) двадцать пять рублей.

Кстати, водой прибило к берегу труп парня лет двадцати, неизвестной национальности. Руки и ноги его были крепко связаны веревками, к ногам привязан груз кирпичей. Напротив того места гавани, где обнаружили труп, на рейде всегда стояло много персидских шкун... Темное и мрачное дело.

Другое преступление, от которого содрогнулись даже портовые волки: был найден в заключенном доме труп девочки лет десяти, с пробитым кинжалом боком и оскверненной раной.

Сорок Духанов получили свое название в старину, когда (так я слышал) духанов было в том квартале около сорока. Но я насчитал по квадрату квартала только семь или восемь духанов. Это были харчевни-трактиры обычного типа, грязные и мерзкие до последней степени.

Уже несколько раз я встречал босяка – пьяницу высокого роста, с потертым оспой лицом, полуинтеллигентного типа, похожего на актера. Обычно он обходил столики пьющих и выпрашивал рюмку. Он принадлежал к той категории, для которой – не знаю, верно это или нет – не опохмелиться до полудня значит умереть.

Раз я зашел в духан в середине знойного до слепоты дня и увидел такую картину: за каждым столиком сидел оборванный люд с бессмысленными глазами. Духанщик был пьян

так, что спал, сваясь головой на стойку. «Шестерки», как их звали, то есть «официанты», на самом же деле просто чернявые типы в грязных передниках, ходили, качаясь и мыча непонятное. Словом, выдался особо пьяный день – «день белой горячки». За одним столиком сидело четверо. К ним приставал, ругал их, тоже еле держась на ногах, тот человек (прозвище Рваный Рот он получил впоследствии), прося водки, но его гнали прочь. Тогда он взял толстый стеклянный стаканчик, разбил его о камень у входа и, возвратясь, подкрался к столу, где, без слов, тихо и страшно хватил острым стеклом одного пьяницу по лицу; прижав к лицу стекло, он вдавливал и вертел его.

Тот залился кровью. Все вскочили – нет, с трудом поднялись – и так же молча, едва бормоча что-то, повалили ударившего на пол. Он не бежал – едва ли он да и все сознавали, что делают.

Началась возня побоев, которые могли кончиться убийством. Человека били бутылками, ногами, табуретом, кололи вилкой, грызли ему ухо, вырывали волосы, прыгали на нем. Он не кричал, только пьяно бубнил матерное. Наконец один босяк всунул ему в рот руку и разорвал рот до уха, которое уже чуть болталось на красном мясе. Явилась полиция, и избитого увезли на извозчике.

Должно быть, избитый Рваный Рот лечился долго в больнице, месяца три не видно было его по кабакам. Наконец я встретил Рваный Рот в духане; выглядел он бодро, был почти

резв, довольно сносно одет, в кожане и высоких рыбацких сапогах. Он работал на рыбном промысле. От левого угла губ до уха тянулся рубец, но вместо опухшего, дикого и грязного лица я видел осмысленное человеческое и даже приятное лицо. По-видимому, он опомнился и победил свою слабость, не знаю – надолго ли.

Весной 1901 года где-то в Сураханах, далеко за городом, случился пожар фонтана. Нефтяные сбиры быстро набрали команду босяков для работы там; плата была один рубль в день. Тронулось нас человек триста. Впереди, присвистывая, приплясывая, лихо ломая драную соломенную шляпу, шел босяк лет двадцати пяти, в синей кочегарской «пижаме», с голой грудью. Темная бородка, испитое лицо гуляки, «забубенной головушки». Это был сын миллионера-купца из Астрахани, прогнанный из семьи за «художества» – для испытания жизни и вразумления. Получал он двести рублей в месяц, с перспективой полного прощения, когда «ндрав» папаши сего захочет.

Он запевал песни, выкрикивал: «Золотая рота, стройся!.. Смирно!.. Вперед, босячье!» и т. п. – но была фальшь в его ажитации, ему это не шло. На работе (мы таскали доски, тес) он суетился, играл роль, попрекал леностью; сам, пропотев до нитки, усердно работал, присвистывал и кривлялся.

Мы проработали два дня. Фонтан бил высоко, кропя брызгами далеко вокруг. Ночью его заткнули так называемой «пробкой», но этим я не интересовался и смотреть пробку

не ходил, так что не знаю, как это делается. Расчет производился под открытым небом.

Деньги прямо вручал артельщик каждому из нас по очереди, так что некоторые ловкачи становились в очередь по два, даже по пяти раз.

Недели через две, зайдя в духан, я увидел блудного сына сидящим за столом в компании тех босяков, которые на работе подлизывались к нему. Он был одет заново, в дорогом синем костюме, в панаме, и угощал налево-направо белым вином. Он сказал, что получил пятьсот рублей и едет домой.

На мой вопрос, почему он босячил, блудное дитя призналось, что «сызмальства» тоскует его душа и тянет на бродяжную жизнь. Дней через десять прощенный «купсын» вошел в тот же духан; был он босиком, прикрыт тряпочками; один глаз кровоточил. Выпив у стойки сотку водки, вернувшийся «домой» высморкался приложением к ноздре пальца и, хлопая босыми пятками, скакнул прочь за дверь.

Его ожидало наследство в три миллиона рублей.

Теперь скажу о Ваське Несчастном, окончательно потерянной личности. Это был кругломордый босяк, всегда трясущийся с похмелья, никогда не работающий и единственно «стреляющий» водку и на водку. Он был всегда пьян, лицо имел почти черного цвета, вернее – темно-лилового, ободран до последней степени и бос, конечно. Он терся по кабакам, выклянчивал рюмку у пьющих, «стрелял» также у прохожих. За бутылку водки он давал бить себя по голому пузу

палкой – изо всей силы три раза. За ту же бутылку охотники могли разбить о его голову горшок.

Ваське редко кто отказывал в рюмке, но однажды ночью, как ни просил он дать ему хоть «глоточек», оно не получил и, выйдя на улицу, хватил со зла камнем по стеклам двери... Его страшно избили.

III

Хроническое голодание вело к тому, что, заработав где-нибудь семьдесят-восемьдесят копеек, я не удерживался и проедал их. Благие намерения ограничиться «кишечным» рестораном у татарина, жарящего на огромной сковороде где-нибудь в нише стены рубленные на куски бараньи, очень жирные, кишки, – оканчивались победой соблазнов, а между тем «кишечник» давал на две копейки целую тарелку плохо промытых, припахивающих калом, но горяче-румяно поджаренных кусков, залитых жиром. Какие же это были соблазны? (Водки я почти не пил.) Рыночный пирог с ливером, колбаса, окрашенная фуксином, виноград, арбуз, дыня, чурек, лаваш (тонкие, пресные и очень большие лепешки без соли, белые), баранье рагу, борщ, чай, трехкопеечные папиросы – вот и все, кажется. Однажды на Солдатском базаре санитары сбросили с лотка и облили керосином пуда четыре колбасы за то, что она была очень водянистой, хотя вполне свежей.

Нашлись охотники пожирать эту колбасу; я попробовал, но не мог – запах и вкус керосина душили меня.

Итак, соблазны разоряли; пятак-гривенник оставался на утро, не больше.

Иногда хотелось есть просто от скуки, от тоски шляться по порту, от бесцельного сидения на бревнах, на тротуарах.

Та же скука заставляла проигрывать гроши в «орлянку» или базарную рулетку, где номера заменялись цветами секторов вертящегося кружка, или в лото – на олады; уплатив копейку, играющий вместе с другими игроками тянул из мешочка номер лото; чей номер был больше, тот получал десяток оладий.

Попытки найти место матроса оканчивались неудачно; уж очень я был оборван и грязен.

Раза два или три я нашел в пустых котлах, служивших мне иногда домом, большие куски брошенного черного хлеба и, понятно, съел их.

Мое несчастье было то, что я не умел «стрелять» – просить на улицах. Мои обращения к прохожим были неубедительны, так как мой язык, связанный стыдом, выговаривал самое трафаретное, например: «три дня не ел» или «только что вышел из больницы».

Очень часто я слышал возмущавший меня ответ: «Такой молодой, здоровый. Тебе стыдно просить, надо работать!»

– Так дайте мне ее, эту работу, – поспешно и искренне отвечал я. – Я возьмусь за какую хотите работу.

Нескладно проворчав: «Надо искать, ищи!», моралист спешил тогда удалиться.

Однажды серьезный молодой матрос, у которого я «стрелял», дал мне три копейки, а затем вдруг позвал меня в харчевню, заказав мне столько пищи, сколько я мог съесть; смотрел, как ем, затем ушел, а на мои благодарности отве-

тил: «Сам знаю, всякое бывает».

К зиме я совсем отупел, продрог, потерял всякую охоту спастись. Я подолгу сидел в харчевнях, ожидая, не оставит ли кто объедки, и, заметив добычу, подсаживался к тому столу, собирал куски хлеба, смазывал ими остатки соуса или борща. Также, купив сам хлеба, я входил в харчевню и, намазав хлеб горчицей, притом посолив, съедал свой, как это называлось «пашкет» (то есть паштет). Так поступали многие.

Зимой, осенью я ночевал в ночлежном доме или в ночлежке при одном духане, где, конечно, не топились. Это было узкое помещение – род коридора со скользким от грязи и сырости асфальтовым полом; на нем спало без подстилки, как и я, человек пятнадцать-двадцать. Скорчась, засунув пальцы под мышки, а под головой держа камень, прикрытый шапкой, я лежал и дрожал, пока эта дрожь не навевала своеобразного нервного тепла – быть может, бесчувственности, – и засыпал, часто просыпаясь от стужи.

Иногда этот притон ночью неожиданно навещала полиция, просматривала паспорта и кое-кого уводила.

Зимой, в ноябре, я заболел малярией в перемежающейся форме. Лихорадка мучила меня через день, ровно с двенадцати часов дня до двенадцати часов следующего дня. Температура резко падала, и я сутки ходил здоровым, но ослабевшим до головокружения. Жар в сорок градусов согревал меня в ночлегах моих. Иногда болезнь прерывалась, а затем

снова нападала внезапно, так что иногда, все же работая в порту, я после двенадцати часов, то есть после обеда, должен был уходить с работы и, сидя в духане, трястись, стуча зубами. При лихорадке есть не хотелось, но я пил непрерывно то чай, то воду.

Но и на такой ночлег часто не бывало денег. С ночлежным домом я поссорился, изругав заведующего чайной за пропажу моего мешка, и чуть не поколотил его; тот пожаловался городскому врачу – старику черствому, тощему, предубежденному против бездомной братии; врач свыше заведовал ночлежным домом, и он распорядился не пускать меня спать.

Часто я ночевал в недостроенном пустом доме, среди стружек и кирпичей. Зарывшись в стружки, я кое-как достигал бесчувствия, хотя надо мной свистел норд, а на полуголом теле таял падавший в беспотолочное пространство снег. Заколев к утру так, что ноги отказывались повиноваться, я ковылял в ближайший духан согреться.

И вот около Рождества во мне принял трогательное участие такой же босяк, как и я, молодой веснушчатый рыжий парень лет восемнадцати. Он ночевал со мной у духанщика, и мы подружились. Если он, работая либо другим путем, раздобывал денег, то тотчас же кормил меня, поил чаем и платил за ночлег; если удавалось «настрелять» мне – я так же поступал с ним, но, к сожалению, он делал для меня больше, чем я для него.

Не помню, как я потерял его из виду. Кажется, он поступил матросом на какое-то судно.

Надо сказать еще (чтобы не забыть), что минувшим летом, кроме поденщины, я пытался найти и другие способы добытия заработка. Два дня я торговал на Солдатском базаре старыми вещами; купив рубашку, жилетку или штаны, пытался я перепродать их с прибылью, но, от природы лишенный коммерческих способностей, спускал, когда надоедало шататься, свой товар за меньшее, чем купил. И бросил я это дело, не без малой дозы зависти к тем из бродяг, которые умели купить и умели продать.

При ночлежном доме существовали мастерские, где можно было бесплатно пользоваться инструментами и даже некоторым материалом, например фанерой ящиков для выпиливания лобзиком. Эту работу я делал еще мальчиком для себя. Некоторые босяки делали рамки, покрывали их лаком и продавали. Соблазняясь, я тоже начал было выпиливать рамки; это-то шло не хуже, чем у других, но торговал скверно; когда мне надоедало стоять «без почину», я отдавал свои рамки (мысля по двадцати копеек) за пятнадцать, десять и даже пять копеек, а потому признал сие дело никудышным. За вычетом расходов на материал (пилки, лак, лакированная бумага) оставалось мне не более четвертака в день.

Зима тянулась бесконечно долго. Это был мрак и ужас, часто доводивший меня до слез. Не желая тревожить отца, я иногда писал ему, что плаваю матросом... А его письма из

письма в письмо твердили о нужде, долгах, заботах и расходах для других детей.

В конце зимы мне удалось найти работу: я стал раздувальщиком мехов в небольшой кузнице. У хозяина-армянина работали кузнец-отец с двумя сыновьями. За плату в пятьдесят копеек в день, уплачиваемую очень неаккуратно, иногда в понедельник вместо субботы, я недели три был подлинным рабом кузнецкой семьи; не только я раздувал мех, но и таскал котельные трубы, подметал, убирал, ходил за водкой и терпел издевательства сыновей кузнеца, презиравших меня за недогадливость, босячество, за то, что я в разговорах выказывал знания вещей и явлений, им не ведомых. Во всяком случае, в кузнице было тепло. Не помню, что работали там, в глазах стоят теперь лишь брызги огня, разлетавшегося искрами при ковке металла, да старые котлы и узкие котельные трубы.

Ничтожная моя плата – три рубля в неделю – выдавалась так грубо, нехотя, как подачка, что однажды, вынужденный даже отправиться за ней к армянину в дом, я получил деньги и бросил ходить в кузницу.

Но наконец установилась теплая погода. На Пасхе с одним босяком-«стрелком», пожилым, опытным бродягой, совершили мы очередное нищенское хождение из дома в дом и набрали целый мешок разной вкусной снеди да еще денег рубля полтора. Естественно, купили мы водки и начали пиршествовать, после чего я проснулся на пустыре, ничего не

помня, со страшной головной болью и кое-как разыскал своего компаньона, который меня и опохмелил.

Лихорадка то появлялась, то исчезала. С теплом она не так свирепствовала во мне, и я начал работать опять поденно то тут, то там, но больше ходил в док. Случился даже маленький подряд, который взяла компания четырех босяков – и я в том числе – у одного мелкого подрядчика, еврея. Надо было выкрасить черной краской крышу пятиэтажной паровой мельницы. Двадцать рублей обещано было нам за работу, а также готовые краски, ведра, кисти и веревки. Мы провели три дня на раскаленной солнцем крыше и выкрасили ее, привязывая себя веревками к трубам, чтобы не соскользнуть с крутой крыши, но как дошло дело до получения денег – подрядчик исчез. Его адрес мы узнали, и, когда пришли к нему на квартиру, его жена повела нас в одну кофейню, где действительно мы обрели подрядчика, скромно закрывшегося газетой. На наше требование уплаты подрядчик говорил, что будто бы еще не получил денег сам от хозяина мельницы. Но мы так прижали его, что он куда-то побежал и деньги принес.

– Вот вам троим, – отнесся он к моим компаньонам, – а тебе (то есть мне), тебе ничего не будет, ничего не дам.

Ничего не понимая, так как не более, чем другие, напирал на подрядчика, я стал требовать, чтобы мои «товарищи» принудили подрядчика уплатить все.

– Мы получили, – ответили мне они, – а на тебя нам пле-

вать. Получай сам как хочешь.

При таких обстоятельствах мне ничего не оставалось, как наброситься на подрядчика и компаньонов с пеной у рта. Подрядчика к тому же начали стыдить, уговаривать другие посетители кофейной, но он, заметив, что я чужой, безразличный для своей же компании человек, усердно стоял на своем.

– В таком случае, – вскричал я, – я заявлю в полицию.

Это подействовало, и подрядчик уплатил недостающие пять рублей, но отдал их не мне, а одному босюку, и, выйдя на улицу, мы поделились, причем мне дали только три рубля.

– Довольно с тебя, уйди, а то изобьем. Ты не вровень с нами работал, мы тебя наняли.

Парни были все молодые, здоровенные, и спорить не приходилось. Я взял деньги, плюнул и ушел, потеряв, таким образом, два рубля.

Три рубля... Я сделал попытку приодеться хоть немного: купил хорошую, правда, с крахмальным гарнитуром, сорочку, почти новую, за двадцать копеек; поношенную жилетку персидскую с вышитыми шелком цветами и стоячим глухим воротником за пятьдесят копеек, брюки бумажные, коричневые, за восемьдесят копеек. Еще купил я стираный синий китель за сорок копеек и за тридцать копеек перелицованную из старой синюю фуражку. На ногах были старые чупяки. Отпоров крахмальные части сорочки, я надел ее, сходил в баню, постригся и, приняв приличный вид, по моему мне-

нию, начал искать места, бродя по Белому и Черному городам; заходил на заводы, в конторы, магазины, мастерские и куда попало, но места так и не нашел.

Здесь кстати сказать несколько слов о нефти. Баку – центр нефтяной промышленности.

У меня есть энциклопедия; если бы я хотел, то, открыв статью «Баку», без труда мог бы сообщить технически и исторически точные сведения о нефти, тем более что словарь этот – современник моих скитаний. Однако я пишу не популярное исследование, а лишь вспоминаю, причем пишу так, как вижу запомненное теперь.

Я был один раз в Балаханах – ходил туда с двумя босяками искать работы, и ушел с чувством облегчения: страшны и мрачны, как дурной сон, показались мне черные острия вышек, пустота проулков, пропитанная нефтью земля, на которой нет ни зелени, ни деревьев. Узкие, пирамидальной формы «вышки» так многочисленны, что издали маячат, как лес, обвитый дымом. Все черно, закопчено, покрыто налетом пыли и нефти, как в Черном городе. Людей почти не видно – они в мастерских или внутри вышек, где длинной «желонкой» с клапанами «тартают» из глубоко уходящей внутрь земли буровой скважины мазут. От Баку до Балахан верст двенадцать безрадостной, залитой зноем дороги, преследующей ухо перебивающимся, монотонно-звонким щелканьем подземных нефтепроводных труб. Этот звук преследует везде, где расположены керосиновые заводы или цистерны, –

особенно в Черном городе. Трубы там плетутся по краям улиц, как жилы вспухшей руки; они и в канавах, и под землей, и над землей – то выползают из нее, переплетаясь подобно лесным корням, то стекают под мостовую и непрерывно стучат. Глухое, резкое, тихое, звонкое шелканье раздается со всех сторон. Что шелкает – воздух или мазут, – я не знаю. Звук этот полон дикого напряжения и таинственности, в нем чудятся удары молотов по железу, громыхание стального листа, трели цикад, удары пуль в жесть. Вы идете; внезапно шелканье достигает тягостной частоты и силы, и, завернув в переулок, думаете, что звуки остались позади вас, но навстречу приближается новый хор спрятанной неизвестно где металлической трескотни. Прибавьте к этому запах керосиновой лавки, неприятный вкус во рту, геометрический пейзаж бесчисленных нефтяных резервуаров и выступающую из земли под давлением ног нефть.

Попав в Балаханы, я даже не стал искать там работы, а, переночевав на кухне какой-то казармы, где клопы сделали меня почти ажурным – так много их было, – я утром потек обратно в Баку.

Слышал я, между прочим, что бывали такие обильные фонтаны, когда нефть, давая десятки миллионов пудов в день, переполняла самые большие земляные резервуары, и наступало золотое время для босяков: наспех рылись канавы, чтобы дать нефти направление к нужным оврагам и ямам; рабочие, стоя по живот в этих нефтяных речках, мет-

лами и лопатами прогрести завалы наносимого течением мусора; за дневную работу на таких подземных бешенствах платили по пяти рублей в день и восемь-десять рублей за ночь.

Но – говорят – нечем было дышать. Еще – говорят – от такой работы тело покрывается язвами.

Анекдот или правда – такой рассказ? В одном месте стали бурить скважину, вдруг ударила желтая жидкость. Но запах был почему-то приятен. Попробовали – ан это темное баварское пиво; оказалось, что пробурили какой-то обширный пивной погреб, попав в очень большую бочку.

Нефть заставила меня помнить о ней еще страшным пожаром летом 1899 года, когда одновременно горели лесные склады порта и резервуары, заводы Черного города. Пожар продолжался дней семь. Баку стоял в дыму, все дышали дымом, иногда таким густым, что днем было темно, как ночью. Только издали можно было смотреть на пожар, являвший, почти без видимого огня, движение дымовых гор и вращающихся черных завес. Я видел все же проблеск огня – в Черном городе, где горела группа резервуаров. При диаметре их в десять-пятнадцать сажен можно представить, какого размера дымные извержения плотной массой клубились над ними. Рядом стоял еще целый резервуар. Вдруг с него с грохотом, напоминающим взрыв, слетел плоский конус крыши и, затрепетав, спланировал прочь; в ту же секунду рванул огонь и скрылся в поднявшихся столбах дыма.

На лесной пристани по воздуху летали горящие куски дерева.

IV

В начале мая пришел на биржу босяков человек с бородкой и спросил, не желает ли кто работать на рыбном промысле. Восемнадцать рублей в месяц, харчи готовые, чай, сахар и табак свой.

Никто из бакинских лаццарони, слонявшихся по бирже, не пожелал принять такое предложение. Босяки боялись постоянных мест, так как, видимо, предпочитали не знать, что с ними будет, более или менее равномерному существованию. Впрочем, работа на рыбных промыслах нелегка, и я, вызвавшись стать рыбаком, скоро в том убедился.

Человек с бородкой – старшой промысла – привел меня к парусной лодке – карбасу или баркасу, как он там называется. В лодке был второй рыбак Ежов, смирный молодой парень. Мне понравились очень высокие рыбацкие сапоги с ремнями под коленом и толстыми, набитыми гвоздями подошвами. Брюки рыбаков были из парусины, блузы цветные, бумазейные, фуражки кожаные.

Мы снялись, уплыли далеко за пределы порта в сторону Петровска, то есть к Астрахани, и пристали у большого плоского острова, отделенного от материка высохшей мелью. Здесь у самой воды были здания промысла: жилой дом из камня с земляной крышей, сарай для снастей, лавка и жилье приказчика.

Жилье рыбаков состояло из двух помещений: одно с четырьмя топчанами для сна; другое, рядом, – зимняя кухонная комната, где ели, варили, пили чай. Пол был земляной, окна малы. Стоял также стол в сарае.

Как день был воскресный, время – четыре часа – позднее для работы, то я провел время до утра, ничего не делая, кроме лишь того, что получил от приказчика книжку, на которую взял пять фунтов сахара, четверть фунта чаю, пачку табаку и спичек.

Ели мы хорошо: вареную и жареную белугу, икру; утром чай был с белым хлебом и балыком или с чашкой икры, которую ели ложками.

Известно, что рыбная пища способствует малярии, а у меня к этому времени вновь началась сменная температура, пока еще не особой, правда, силы, и я боялся сказать об этом рыбакам, чтобы меня не уволили.

Всего было нас четверо; старшой, коренастый мужичок с бородкой, лет сорока, Ежов, я и высокий, толстый краснощекий Буранов. Надо отдать должное справедливости и вниманию людей: они меня учили на каждом шагу, как и что делать, а Ежов, догадавшись, что ночью меня трясет лихорадка, дал мне свое хорошее байковое одеяло; оно завшивело у меня. И вот, недели через две, когда я, уходя с промысла, вернул Ежову одеяло, то случайно заглянул из кухни в дверь; Ежов в тот же миг покраснел и быстро спрятал под собой это одеяло, а я уже заметил, что он, что-то ворча под нос, выби-

рает из одеяла насекомых. Меня очень тронула деликатность человека, испугавшегося моего конфуза.

Так. Но обратимся к работе. Приказчик отказал выдать мне сапоги, боясь, может быть, что еще ничего не заработавший босяк сбежит с ними; сапоги стоили двенадцать рублей. К тому времени я уже продал и обменял свои обновы на тряпки, а потому мне выдали все же бумазейную рубаху и старые парусинные брюки да еще старую же кожаную фуражку. Был я почти бос, так как опорки мои развалились.

Пока не было подходящего ветра и снасти не были готовы, мы точили крюки. Снасть («порядок» так называемый) состоит из длинной, в версту и более, веревки, к которой через каждые три четверти аршина привязаны тонкие бечевки, длиной аршина полтора. На концах этих бечевки ввязаны большие, остро наточенные крючки, без бородки. «Порядок» расстилался далеко в море прямой линией, к концам его на вертикально падающих в глубину канатах привязаны якоря – большие камни. Камни эти удерживают снасть под водой, горизонтально. Красная рыба – белуга, севрюга и осетер, – ходя под водой, задевает своей цепкой щитковидной чешуей за острия крючков и, пытаясь освободиться, еще больше прокалывается со всех сторон, так как путает снасть вокруг себя.

Сети, расставленные в воде у берега, неподалеку от деревянных, на сваях, мостов, ловили сазанов и другую рыбу. Сазанов мы съедали всех. Это очень вкусная, но дешевая ры-

ба, а наш хозяин-грузин, владелец рыбного магазина в Баку, интересовался только красной рыбой.

Старшой утром показал мне, как точить крючки. Я уселся на скамью перед воткнутой в песок деревянной установкой с навешанной на ней снастью, постепенно снимал висящие в порядке, аккуратно крючки, точил их при помощи особой дощечки с отверстием – треугольным напильником – и вешал опять.

Так мы работали (в то время старшой и Ежов делали другую работу: чинили сети, паруса и т. п.) дня три, а затем отправились на баркасе в море при попутном ветре. Уехав так далеко, что берег скрылся из вида, мы разыскали по приметным буям свои «порядки» и проверили их. Лодка с опущенными парусами стояла; вернее – она передвигалась очень тихо, по мере того, как, перебирая руками подтащенную вверх из глубины снасть, рыбак тем самым передвигал баркас. Добычи было мало: один «порядок» оказался совсем нетронутым, другой дал уже мертвого маленького тюленя, которого мы бросили, а на третьем полужаснула белужка весом пуда три да осетер длиной меньше сажени. Этот сильно спутанный «порядок» пришлось вытащить, складывая его кругами на дно лодки. На этой работе я исколол руки до крови, устал безумно, и еще больше пришлось мне устать, когда после ночи, проведенной в море, довелось грести тяжелыми веслами, потому что ветер около полудня вдруг упал. Мои руки были натерты жесткими мокрыми веревками до мозолей и крови,

соленая вода жгла ладони, а волнение, хотя и без ветра, делало греблю так неровно-тяжелой, что, сжалясь, рыбаки устранили меня от весел.

В море мы ничего не ели, кроме сухарей, воды и копченой рыбы; получили еще от старшого по стаканчику водки. У меня долго кружилась после этого плавания голова, дрожало и ныло все тело.

Дня четыре провели мы в береговых работах. Стало холодно, так как подул норд, этот бич Апшеронского полуострова. Здесь чуть не случилось несчастье, и виноват оказался я. Я и старшой, когда ветер со страшной силой дул от берега в море, затеяли перевести одну шлюпку, привязанную к колу, по левую сторону мостков, чтобы там вытащить ее на берег.

Пройдя по колено в воде, мы заскочили в шлюпку; я взял весло и, толкая им в дно, начал двигать шлюпку к мосткам, а старшой правил. Уже мостки были близко – вдруг страшным ударом ветра лодку повалило на упертое мною в дно весло и выбило весло из рук; в ту же минуту оказались мы в стороне от мостков, и нас стало уносить в море; а кроме нас, никого не было: остальные ушли к татарам за бараниной.

Мы спаслись только благодаря тому, что старшой не потерялся; неистово крича, браня меня, себя и всех и все, он схватил лежавшую на дне шлюпки толстую палку и начал стоя грести ею так, что вода свистела; палка рвала воду с быстротой швейной машины. Я, вытянувшись на носу и вы-

тянув руку, готовился ухватиться за сваю мостков. Расстояние не более пяти сажен мы проходили, может быть, не меньше как пятнадцать минут, и я натерпелся страха. Наконец я вцепился в сваю и привязал шлюпку.

Старшой, когда шлюпка была затащена на песок, шатаясь, пошел прочь, как пьяный, потом упал ничком и долго, так лежа, хрипел; встав, он сказал:

– Ну, смотри, Александра, чуть не пропали мы...

Действительно, в открытом, штормовом море нас ждал верный конец.

Я слышал рассказ о четырех рыбаках, которые, вцепясь в киль перевернутого бурей баркаса, трое суток носились по волнам Каспия. Прибило их в Персии, возле Ленкорани; один умер, остальные выжили.

Еще раз мне пришлось съездить в море; в тот раз мы поймали белугу около сорока пудов, так что, когда погрузили ее в двухколесную арбу, то хвост ее волочился по земле. Она так спутала весь «порядок», что мы ее даже не разматывали, а, оглушив по темени каким-то рыбацким специальным железом, тащили к острову на буксире со всей ее одеждой, продев под жабры канат. Очень жаль, что я не помню подробностей возни с этим чудовищем, но (мелькнуло сейчас воспоминание, почти обрисовалось и отлетело) оно едва не перевернуло баркас, когда стояло у нашего борта. Белуга заняла целый день с раннего утра до вечера, лишь ночью на парусах доставили мы ее к острову. Из белуги вылилось несколько

ведер икры (два дня мы ели икру). Утром приехал татарин с арбой и увез рыбу лавочнику-хозяину, а также бочонки с икрой.

После второго плавания лихорадка бурно повалила меня; я горел и трясся. Есть я не мог, только пил воду. А между тем наши рыбаки украли заблудившуюся татарскую козу и жарили ее, угощая меня печенкой, почками; я завидовал им, но есть не мог.

Ночью (ели козу ночью) раздался стук; я слышал тревожный голос татарина, ищущего свою козу.

– Нет, не видели, – сказали ему рыбаки и, после препирательств, вновь вытащили из-под стола свое жаркое, спрятанное там, едва раздался стук в дверь.

Между прочим: плита топилась нефтью, а нефть мы собирали, черпая ее тонкий слой жестяной с выступающих из-под земли луж.

Видя, что я серьезно болен и прошу меня отпустить, старшой дал мне записку к хозяину; кое-как добрел я до Баку, получил от хозяина свой расчет (рубля четыре), и доктор ночлежного дома направил меня в больницу, где после адских приемов хины я дней через пять временно освободился от малярии. Затем встретил я того пожилого босяка, с которым мы нищенствовали на Пасхе; он соблазнил меня идти бродяжить на Северный Кавказ, уверяя, что казаки щедрый народ; я согласился, и пошли мы в сторону Петровска – Дербента, – то берегом, то по тропинкам холмов.

V

Таланты моего спутника обнаружались очень скоро: когда мы прошли через Черный город, у него было уже «настреляно» от прохожих больше рубля. Мы переночевали в духане на горе, у дороги, обставленной скалами, при живописной луне, а ночью выпили бутылку красного вина и съели шашлык. Следующий день был жаркий. Путь наш теперь лежал по линии строящейся Баку – Петровск железной дороги, и около двух часов увидели мы, что за столом в одном деревянном открытом бараке сидит большеносый человек в папахе и синем костюме, пожирая жареную курицу. Рядом с курицей пламенела четверть ведра вина.

Соревнуясь в подвигах с попутчиком своим, я тотчас вознамерился «стрелять» человека в папахе, но мудрый учитель мне сказал:

– Это не дело. Садись на траву, будем есть свой сухой хлеб, и... вот увидишь, что будет.

При этом он тридцать раз помянул родительницу человека в папахе и брякнулся на траву. Смотря прямо в лицо обедающему, стали мы, сидя уныло, жевать хлеб и дожевались до того, что курица, видимо, стала у человека поперек горла; он подозвал нас, отдал всю оставшуюся половину курицы и налил нам по стакану вина.

Я удивился, как верно рассчитал все мой психолог-босяк,

и был восхищен. Не помню из-за чего, но мы весь день с ним пикировались и ругались, так что к вечеру мой спутник смертельно мне надоел, а как ночевать мы остановились в рабочей пекарне, в степи, то пекаря начали уговаривать меня остаться работать у них, и я согласился: сорок копеек в день на готовой пище. Утром тщетно уговаривал меня компаньон идти с ним; я наотрез отказался. Уже по некоторым намекам его я догадывался, что у него есть на меня какие-то планы, может быть – уголовного порядка; хотя не помню разговоров, но впечатление это определенное, твердое. Два раза он мнимо уходил, возвращался и звал. Я послал его далеко... далеко!

– Ну, так пропадай тут: лезь в хомут, если так тебе нравится... Дураков работа ищет! – закричал он и скрылся в степи.

А я стал работать в пекарне. Вначале носил муку, воду, колол дрова, таскал из печей горячий хлеб, а затем мне дали телегу и лошадь; я стал развозить мясо и хлеб в казармы землекопов строящейся железной дороги.

Эта вполне самостоятельная работа мне понравилась: я утром водил лошадь к источнику, где поил ее, встречаясь там с погонщиками верблюдов, купал лошадь в море и сам купался; запрягал свою кобылу, грузил телегу хлебом, говядиной (коров резали при пекарне) и развозил эту пищу по своему участку, сдавая ее на вес. Конечно, я мог есть хлеба сколько хотел, но обедать – щи, кашу – мог только к вечеру, когда возвращался. Я мало тогда беспокоился о чае – не то,

что теперь; по вечерам с удовольствием пил кирпичный чай и курил махорку.

Так я жил недели две, затем пекарня прикрылась (не помню уже почему). Я пешком направился в Баку, но по дороге пристал к одной артели землекопов, рывшей насыпь, и, соблазненный рассказом о хорошем заработке, остался у них. Сколько тогда платили за куб земли? Два с четвертаком, два с полтиной – так, кажется. Но землекопная работа, одна из самых тяжелых, сразу подрезала меня, тем более что она производилась группами и надо было не отстать от других рабочих; я спасовал. После двух дней такой работы на зное я слег, снова заболев лихорадкой. Затем пытался я еще возить землю на насыпь, но и тут не выдержал, не говоря уже о том, что тачки с землей, кои пробовал я таскать, – весом до двадцати пяти пудов груза – вываливались у меня из рук.

Рабочие – все пришлые крестьяне из России – жили в длинной землянке с такой низкой дверью, что входить надо было согнувшись. Эта землянка, крытая дерном, не давала спать – так было ночью в ней душно, так была сильна вонь натруженных тел крестьянских, – и вшей было довольно. А спали на нарах вповалку, толкая во сне друг друга коленями и локтями.

Измученный, я бежал, оставшись должен подрядчику восемьдесят копеек за чай и сахар. Когда я жил в землянке, мне пришлось видеть артель землекопов-мордвинов. Они «обедали». В чашку с водой с солью был покрошен черный хлеб

– все! Поев, они с довольным видом закурили из трубок махорку. Но эти крайне выносливые мужики вырабатывали по кубу и больше на человека в день; значит, могли есть сытно?! Да, но я слышал, что они крайне скупы, и сам знал в Баку таких, которые работали, например, котельщиками или слесарями, а жены их все-таки ходили побираться, продавая хлеб для коров и лошадей по копейке за фунт.

Так же, но уже не скаречно, а скверно, питались персы-грузчики, получавшие плату ниже, чем русские рабочие (кажется, пятьдесят копеек поденно). Но этим ничего другого, конечно, не оставалось. Они ели покрошенный в большую чашку лаваш, сдабривая его водой, подцвеченной молоком.

От землекопства мне захотелось идти опять на рыбные промыслы, и, узнав, что верстах в сорока такой промысел есть, я легкомысленно двинулся к берегу моря, у самой воды. А надо было идти проезжими дорогами, где есть источники, караван-сарай; и я чуть не умер от жажды.

Солнце палило неумолимо; кричали тарбаганы (суслики), звенели кузнечики; не было ни ветра, ни волнения в море.

Вначале я шел бодро, потом захотел пить. Поглядывая на морскую воду, я стал прибавлять шаг, так как надеялся встретить речку, ручей или жильё; но холм за холмом проходили слева, впереди тянулись плоские изгибы берега один за другим, а признаков воды не было.

Уже солнце перешло зенит; жар был такой, что ядовитый

озноб пробежал по телу и красные круги шли передо мной на белом песке. Жажда стала мученьем.

Глотая слюну, схватывая и жуя стебелек, примачивая голову морской водой, я то шел, спотыкаясь, то бежал.

Остального не помню. Я был в полубессознательном состоянии от страшных мучений, передать которые словами нельзя. Они сосредоточены в горле и пищеводе, где как бы движутся потоки горячей соли, приводя в слезы и бешенство. Рыдая, громко призывая на помощь, я бежал стремглав все дальше и дальше, не присаживаясь, не останавливаясь, с безумной болью внутри.

Помню одну заботу тех адских часов: как бы не упасть. Упав, я не смог бы встать.

Но у меня хватило силы избежать для питья морской воды и не хватило соображения выкупаться – купанье облегчило бы мои невероятные страдания.

На закате солнца я увидел за срывом берега примкнувшую к нему дерновую крышу промысла, пробежал мимо двух пытавшихся меня остановить рыбаков, иступленно закричал: «Где вода?» – и, сам увидев под навесом сарая бочку, полную воды, припал к ней ртом... Меня вырвало. Я снова припал – и тот же результат. От слабости я сел. Тогда один рыбак стал поить меня из кружки. Мои зубы стучали. Я глотал, чувствуя боль при каждом глотке, проливал воду на грудь и не мог удержать рыданий. Наконец второй рыбак вылил мне на голову ведро воды; дрожь усилилась, но нервы

стихли, и, уже спокойнее, я напился досыта.

В течение вечера я принимался пить несколько раз – и чай и воду.

В таком утолении жажды нет радости, – оно мрачно, тягостно, почти преступно.

Как наступила прохлада, я отошел уже, вместе с рыбаками шутил и смеялся над своим приключением. Молодой рыбак, оказавшийся читавшим кое-что из моих любимых авторов – Эмара, Жюль Верна и других, – пел «Баламуты», потом меня накормили вареной рыбой, и я крепко уснул, а утром направился обратно в Баку, но уже по линии строящейся железной дороги, для чего мне пришлось отшагать несколько верст в глубину равнины. С одного места двигался в Баку состав пустых вагонов; я забрался в вагон и на следующий день приехал в город.

Снова трясла меня лихорадка, и, хотя я не спал всю ночь, я отчетливо видел во тьме странные жуткие галлюцинации. Если я закрывал глаза, я продолжал видеть вагон, но полный не тьмы, а подобия сумерек; в углах против меня сидели, опираясь руками о пол, жуткие волосатые существа с огненными глазами; их толстые длинные хвосты шевелились, как у крыс. И лица их были отвратительны. Тогда я открывал глаза – все пропадало. Я курил и старался не смежать глаз.

Несколько дней спустя, без денег, рваный и больной, я сидел в духане. Пришел человек и стал звать желающих поступить матросом на пароход «Атрек» компании «Надежда».

Это был товаро-пассажирский пароход, делавший круговые рейсы.

Я вызвался и отправился на пароход. Так с начала до конца все было неинтересно, бесцветно на этом пароходе, так были серы и не по-матросски одеты матросы, пароход так грязен, кубрик – нечист и неудобен, что рейс на «Атреке» – в противность Черному морю – совершенно забыт мной как действие; я помню его только как факт, как ряд фактов. Даже пищу мы варили сами, по очереди: борщ и кашу – из своего жалованья в двадцать один рубль. Матросы подрабатывали тем, что грузили товар вместе с грузчиками, но мне непосильно было это, и я отказался. Беспеременно больной лихорадкой, я с трудом нес вахты. Не помню ни пассажиров, ни капитана, ни гаваней, ни лиц матросов. Знаю только, что на «Атреке» я доплыл до астраханских «Двенадцать фут», то есть до рейда, и попросил за две недели расчет. За вычетом стоимости продовольствия, выдано мне было около шести рублей, на которые я, задумав теперь вернуться домой, немного приоделся: купил бумажный пиджак и брюки, рубашку с чесучовой грудью (косоворотку), кальсоны, фуражку. Не хватило на башмаки. Осталась мелочь, которую я быстро проел, и, когда упросился на пароход плыть до Казани, денег у меня не было.

Неподалеку от Черного Яра (или Красного?) контроль ссадил меня на берег, потому что разрешил ехать помощник, а контроль делал капитан и не захотел, чтобы я ехал. Я на-

прасно просил его. Меня ссадили в таком месте, где пароходы приставали только случайно – если был адресован туда груз.

И вот, до следующего Яра, где находились все пристани, прошел я пешком сорок пять верст за два дня. Пришел я в большое село, и меня пригласили в волостное правление – проверить паспорт. Я рассказал волостному старшине о своих горемычных странствиях; этот добрый мужик привел меня к себе в хороший зажиточный дом, напоил чаем, накормил ужином, уложил спать, а утром, прощаясь, как-то очень хорошо, человечески всучил мне серебряный рубль, и когда я, со стыдом в душе, благодарил его, то он сказал: «Ладно, ладно, берите, у меня самого вот так-то сын мучается, – отбилса совсем, и уж три месяца писем от него нет».

А хозяйка дала мне пирогов, хлеба и яиц.

Придя в Яр (кажется, Красный, а может быть – Черный), я решительно сел на пароход «зайцем». Ночью было холодно, меня знобило, и я лег за дрова, на железный кожух машинного отделения. Этой же ночью стали проверять билеты, и мне приказали слезть на первой же пристани. Я придумал следующее: когда пароход давал свисток – в знак приближения к пристани, – я шел на корму и опускался за нее на идущий вокруг судна «планшир», род карниза, на котором и сидел, держась за свесившийся канат; и был я людям, ищущим меня, невидим с палубы. Когда пароход отваливал, я вылезал на палубу. «Где ты был? – сердито спрашивали меня матро-

сы и помощник капитана. – Ведь мы тебя ищем». Но я своего секрета, конечно, не открывал и проехал таким образом три остановки. Наконец ко мне приставили матроса, чтобы он не упускал меня из вида; тогда, делать нечего, пришлось уйти, но, слезая на забытой уже пристани, я сообщил все же администрации парохода свою выдумку.

Удивлялись, смеялись, но ехать дальше все же не дали.

Подождав третьего парохода, я опять резво взошел «зайцем», но тут мне повезло: я встретил вдребезги пьяного незнакомого мне котельщика из Баку; он ехал домой в Симбирск. Узнав, что я тоже из Баку, котельщик возлюбил меня страшно: никуда не отпускал от себя, покупал водку, пиво, заказывал кушанья и потом бегал на пристань за воблой, каковая стоила тогда двугривенный десяток. То жался, то разбрасывался. Он купил мне билет до Казани – за рубль двадцать копеек, кажется; купил мне по пути – уже не помню где – новые «баретки» (летние коричневые башмаки из материи) за рубль пятьдесят копеек и все говорил:

– Помни Тимофея Пришлепкина. Я такой-то! У меня денег много, есть золотые, есть серебряные.

Как я уяснил, он целый год копил деньги и накопил, если ему верить, рублей четыреста.

Он пил беспрерывно, ко всем приставал, торчал у буфета часами; заснув немного, просыпался и пил пиво. В конце концов, как ни был я благодарен ему, он мне изрядно надоел, и я был рад, когда Пришлепкин слез в Симбирске с парохода.

От Казани мне удалось бесплатно приехать в Вятку на пароходе вятского пароходства «Тырышкин – Булычов», потому что я встретил однокашника по городскому училищу, служившего на том пароходе помощником капитана.

Я никогда не писал отцу, что я возвращаюсь, а потому неожиданно для него приехал домой.

Надо сказать, как только я покинул Астрахань, малярия внезапно оставила меня. Она сказывается иногда теперь в скрытой форме.

Отец встретил меня радостно, слегка растерянно; характерная улыбка шевелила его усы, уже седеющие. Наша семья жила в маленькой тесной квартире деревянного дома.

– Ну, вот... был в Баку, лежал на боку, – бесхитростно острил отец, когда я, стараясь говорить небрежно и бодро, кое-что рассказывал ему о пережитом.

И так как стыдно было мне являться без гроша, снова пользуясь поддержкой отца, то я вновь солгал, проронив между прочим:

– Деньги? Деньги есть, есть всякие: и золотые и серебряные.

Мне понравилась эта фраза пьяного Тимофея. Отец внимательно посмотрел на меня, а вечером, сильно нетрезвый и, по-видимому, наученный мачехой, подошел ко мне, сел и, не то стесняясь, не то приказывая, сказал:

– А ну, Александр, давай-ка деньги! давай, давай! Ты все зря истратишь... то – вот... Так давай!.. то – вот.

Это была его привычка почти через слово прибавлять «то – вот».

Тогда мне пришлось сознаться в выдумке – и странно – даже уверять отца, что я солгал.

– Так зачем же ты лжешь? – спросил он, взволновавшись и рассердясь.

Но я и теперь не знаю: зачем?

Урал

I

В феврале 1900 года я решил отправиться на уральские золотые прииски.

Всю эту зиму я прожил бедствуя изо дня в день. Мне удалось иногда заработать рубль-два перепиской ролей для труппы городского театра, причем, чтобы получить даже эти гроши, приходилось иногда часами ловить за кулисами антрепренера, а то даже ожидать конца спектакля, когда антрепренер залезал в кассу сверять билеты.

Около месяца я прослужил у одного частного поверенного, бойкого крючка, платившего мне двадцать копеек в день за довольно трудную работу: писание под диктовку исковых прошений и апелляционных жалоб.

Эти двадцать копеек я тратил так: на две копейки покупал я в трактире чашку вареного гороха с постным маслом, на три копейки хлеба, на две копейки жареного картофеля, четыре копейки стоила рюмка водки. Остальные деньги – в разном сложении остатков – шли на покупку чая и табаку.

Я жил в крошечной каморке деревянного старого дома. Рядом, в другой каморке, жили слесарь с женой, а примыкающее помещение, побольше, занимала плотничья артель.

За комнату два рубля пятьдесят копеек платил мой отец.

Однажды, сильно устав и не дождавшись частного поверенного, который выдавал мне мой двугривенный, я пошел искать его в театральный буфет, куда он часто ходил. Действительно, мой мучитель сидел там, пьяный, в хорьковой шубе, каракулевой шапке, с каким-то дельцом; они ели уху и пили водку.

Я попросил свой двугривенный. Адвокат прикинулся хмельным и бедным. Он начал толковать о своих благодеяниях мне, о том, что его никто не понимает, что двадцать копеек – деньги, что их нужно достать, а у него нет.

Компаньон адвоката, слушая этот разговор, возмутился, пристыдил приятеля и вручил мне – за него – двадцать копеек, сказав, что вычтет с адвоката по счету.

С того дня я перестал ходить к моему бывшему хозяину.

Немного понаторев в писании исковых прошений, я начал писать их, сидя в одном трактире, за столиком. Плата была обычная для сделок такого рода и при такой обстановке: полтинник и полбутылка водки. Но мне не везло в том, что у меня был прескверный почерк, без завитушек; прошения я составлял сухо и кратко, по существу, без того, чтобы вышло «жалостливо» – «доходило до сердца», то есть трогало самого просителя. Поэтому таких работ у меня было немного. Мое сидение в трактире окончилось, когда появился «дока»: человек с красным носом, в опорках и сюртуке. Он брал просителя тем, что сразу говорил: «ставь». Мужик зубами

развязывал узелок платка, оба они – я видел – понимали друг друга и по словам, и по рюмкам.

В писании ролей для театра вытеснили меня конкуренты с красивым почерком, рабски лепившие строчку на строчку за тот же пятак с листа, тогда как я мужественно разгонял текст, чтобы нагнать из пьесы больше листов.

Мне случалось, просидев день и всю ночь, переписать пьесу по четыре-пять печатных листов – со своей бумагой.

Но я отвлекся, а, впрочем, важно указать, из какой обстановки я двинулся на Урал. Там я мечтал разыскать клад, найти самородок пуда в полтора – одним словом, я все еще был под влиянием Райдера Хаггарда и Густава Эмара.

Отец дал мне три рубля. На мне были старые валенки, подшитые кожей, черные ластиковые штаны, старая бумажная рубашка, красная, с черными крапинками, теплый пиджак из верблюжьей шерсти, подбитый беличьим мехом, и шапка из бараньего меха. Я ничего не нес и ни на что не надеялся. Правда, отец сказал мне, что в Перми живет его прежний знакомый, ссыльный поляк Ржевский, хозяин большого колбасного заведения, и дал к нему письмо, в котором просил помочь мне найти работу, но я не верил в силу письма. Связь отца с ссыльным была давно порвана, а в таких случаях неожиданное явление бродяги, даже с письмом от полузабытого знакомого, – впечатление не очень внушительное.

Числа, кажется, 23 февраля, в снежный, мягкий день, я

перешел реку Вятку и остановился у кабака села Дымкова, на другом берегу, памятуя, что каждый путешественник, отправляясь в далекий путь, выпивает в трактире за чертой города стакан виски.

И я выпил «сотку», закусив ее горячей бараниной.

Весь остаток рано темнеющего дня я шел по тракту на уездный город Слободской, до которого было тридцать верст. Когда я прошел верст пятнадцать, было уже темно, как ночью. Встретив огни деревни, я постучался в одну избу, в другую, но везде слышал один ответ: «Ступай, много вас таких шляется». Не зная, что делать, я постучался в один дом не совсем крестьянского типа и попал к молодому дьякону, жившему с такой же молоденькой женой во втором этаже. Дьякон оказался человеком простым и, как я, – поклонником Густава Эмара; у него я и переночевал на полу, подостлав половик. Его жена накормила меня лапшой с грибами и попоила чаем с сушкой.

Утром я отправился дальше, иногда проезжая некоторое расстояние на крестьянских санях. Попутные мужики охотно подсаживали меня; однако ударил мороз, отчего выгоднее было идти, чем сидеть; движение согревало. К тому же мне торопиться было некуда.

Дорога была – широкий почтовый тракт, обсаженный столетними снежно-кружевными березами. Изредка попадались деревни, куда я заходил погреться в избе, купить хлеба и молока. В те времена я еще пил молоко.

Около двух часов дня показались крыши уездного города Слободского. Придя в город, я сделал попытку разыскать семью ссыльного поляка Тецкого, который был моим крестным отцом, так как я появился на свет в Слободском, когда мой отец служил там в конторе пивоваренного завода. Однако Тецкий с семьей уехал в Сибирь. Выпив в придорожном трактире стакан водки, а также пообедав, я тронулся в дальнейшее странствие, которое продолжалось восемь дней; я прошел от Слободского до Глазова сто восемьдесят верст, ночуя по деревням. Редкая семья соглашалась взять с меня деньги за ужин или ночлег. Я предпочитал останавливаться в бедных избах, так как хозяева таких жилищ гораздо радушнее и приветливее, чем зажиточные крестьяне.

Обыкновенно семья садилась ужинать – вся – за большой стол, в известном порядке старшинства и зависимости. Молодка или старуха-бабка подавала еду. Эта садилась последней. Перед каждым трапезником лежал большой ломоть хлеба, который, кстати сказать, нигде не умеют так печь, как в Вятской губернии. Едой управлял очень строгий этикет, нарушить который считалось верхом невежества.

Прежде всего каждый крестился на иконы и, облизав деревянную лакированную ложку, ждал своей очереди зачерпнуть ею из большой общей чашки щей или молока. Вначале ставилось толокно, разведенное квасом и сдобренное постным маслом; затем квашенная в печи простокваша. В самых бедных семьях ели только вареный картофель и квас с на-

крошенным луком.

Черпать ложкой надо было по очереди, кругом, в сторону движения солнца. Во время ужина господствовало чинное, сосредоточенное молчание, даже дети вели себя, как взрослые. Труженик земли уважает свою пищу, которая добывается тяжелым трудом. Он уважает час насыщения – награды за труд. Если странник, зайдя в избу во время общей еды, скажет: «хлеб да соль», ответ бывает такой – или «садись с нами», то есть садись и ешь (отказаться – значит обидеть), или «благодарим!», то есть приглашать есть не хотят.

Там, где на стол подавались мясные щи, этикет требовал, чтобы, зачерпнув ложкой горячей жижи с накрошенным в нее мясом, очередник оставил себе на ложке каждый раз один кусочек мяса, лишнее мясо стыдливо стряхивалось обратно.

Со мной был чай, и я видел, с каким худо скрываемым удовольствием ставился самовар, причем чаепитие происходило так же чинно, молчаливо, как ужин. Я заметил, что женщины более радовались чаю, чем мужчины, и пили его с жадностью, потев от удовольствия. Напившись, каждый переворачивал свою чашку дном вверх, кладя сверху на дно оставшийся недогрызок сахара.

Я спал на печке или полатях; на печке сушились мои валенки и портянки.

Однажды я пил чай из сухих стеблей малины – ужасное потогонное питье, хотя довольно приятное.

Утром, еще в темноте, при свете лучины, хозяйка пекла ржаные лепешки, ставила молоко или чай; наевшись, я затемно выходил на дорогу и в глубокой тишине медленного зимнего рассвета скрипел своими просохшими валенками на восток, к городу Глазову.

II

Инспектором Глазовского городского училища был Дмитрий Васильевич Петров, мой бывший учитель по Вятскому городскому училищу. Я знал, что он здесь, от бывших учеников, моих одноклассников, и решил зайти к нему в гости.

Петров жил в казенной квартире. Пол был чисто натерт, много цветов, рояль, красивые вязаные салфетки – словом, буднично-ординарный комфорт интеллигентного труженика. Я снова увидел его доброе усталое лицо, редкие темные баки, всклокоченный хохолок на лбу, синий вицмундир с золотыми пуговицами и почувствовал себя школьником, когда он сказал:

– А, Гриневский. Здравствуй; какими судьбами? Входи, входи.

В квартире Петрова я ночевал. Его жена, Евгения Ивановна, на которой он женился, когда еще был учителем в Вятке, показывалась редко; то одевалась и уходила по своим делам, то возилась с детьми. Я пришел рано утром, поэтому с Петровым разговорился, когда он пришел со службы, в четыре часа, а до того я сидел за книгой и бесконечно курил папиросы Петрова, отдыхая после трудовой зимней ходьбы в тихой, чистой квартире.

Мне была приготовлена ванна; я вымылся, переменял свое белье на чистое, поношенное белье Петрова и пожалел,

что завтра опять надо идти.

За обедом, затем за вечерним чаем мы много и горячо говорили о жизни, о литературе. Я прочел Петрову свои стихи, после чего он сказал: «Да, что-то есть». Затем спросил, нравятся ли мне рассказы Горького. Мне они нравились, и я воодушевленно отстаивал любимого тогда автора.

– Значит, одобряешь? – спросил Петров. Как я понял, это грустное замечание относилось не только к литературной стороне произведений Горького – оно имело в виду образ жизни его героев. Я ответил утвердительно. Петров не спорил, а когда стали расходиться спать, сказал: – Ну, что же, Гриневский, я думаю, надо тебе немного помочь. Много я не могу.

Он дал мне серебряный рубль, пачку папирос, и, наскоро выпив, рано утром, чая, я отправился на вокзал, где уговорился с кондуктором товаропассажирского поезда. Я дал ему сорок копеек; он посадил меня в пустой товарный вагон и запер его. У меня были хлеб, колбаса, полбутылки водки. Пока тянулся день, я расхаживал по вагону, мечтал, ел, курил и не зяб, но вечером ударил крепчайший мороз, градусов двадцать. Всю ночь я провел в борьбе с одолевающим меня сном и морозным окоченением: если бы я уснул, в Перми был бы обнаружен только мой труп. Эту долгую ночь мучений, страха и холода в темном вагоне мне не забыть никогда.

Наконец, часов в семь утра, поезд прикатил в Пермь. Выпуская меня, кондуктор нагло заметил: «А я думал, что ты

уж помер», – но, радуясь спасению, я только плюнул в ответ на его слова и, с трудом разминая закооченевшие ноги, победил на рынок, в чайную.

Здесь было жарко, тесно; множество мужиков и рабочих, следующих, как и я, на заработки, пили чай, курили, кричали, пили водку; под столами были свалены мешки, котомки; махорочный дым знаменитой дунаевской махорки «Три звездочки» заскакивал в дыхательное горло удушьем. Как у меня не было денег, то я обменял свою баранью шапку на старую из поддельной мерлушки, получив двадцать копеек придачи, и напился чаю с баранками, а затем, около девяти часов, пошел с письмом отца к Ржевскому, магазин которого находился на главной улице города.

Это был большой магазин с зеркальными стеклами и американской кассой, с мраморными прилавками.

Прочтя письмо отца, Ржевский, замкнутый, спокойный поляк лет сорока, пошептался с женой, и она передала меня какому-то старичку – может быть, ее отцу или отцу Ржевского. Старичок повел меня по лестнице в глубине магазина наверх, и я очутился в очень просторной, очень светлой, большой квартире. Пол был паркетный, обои светлые, мебель в чехлах; картины и огромные тропические растения поразили меня. Еще никогда я не был в такой квартире, а о паркетах только читал.

В тот день была оттепель, отчего мои валенки просырели, и я с ужасом видел, что на каждом шагу оставляю жирные,

грязные пятна сырости. Заколебавшись, я остановился; между тем старичок, со всей возможной деликатностью, а может быть, с тайным ехидством, ласковыми движениями рук приглашал меня идти все дальше за ним, через гостиные, залы, – в столовую. Я думаю теперь, что меня могли бы избавить от такого унижения, проведя в столовую более кратким путем, хотя бы через кухню. Я оглянулся: по светлой реке паркета, через всю анфиладу тянулись черные пятна сырости.

Я останавливался раз пять; уши мои горели.

Наконец я был в столовой, где кипел серебряный самовар, и тотчас сел за стол, поглубже упрятав ноги. Кроме старичка, были здесь старушка, девочка, а вскоре пришли хозяева, Ржевские. От смущения я лепетал не помню что; говорил о приисках, золоте; рассказывал свои морские похождения, рассказал об отце, нашей семье. Старичок угощал меня превосходными папиросами, насыпанными в ящичек карельской березы. Я сказал: «Как у вас хорошо» – чем, видимо, польстил хозяевам, но в ответ получил, кажется, рассуждение о том, что такой комфорт достигается упорным трудом. Я выпил стакан чая с молоком в серебряном подстаканнике, съел колбасы, сыру, и когда, куда-то уйдя, Ржевский вернулся с запиской – это была записка вагонному мастеру железнодорожного депо с просьбой дать мне работу. Затем, узнав, что я без денег, Ржевский дал мне рубль и велел приказчику вернуть для меня три фунта разной колбасы; я попрощался и ушел тем же путем, провожаемый внимательны-

ми взглядами служащих.

Кажется, я не понравился – я был дик. На улице я вздохнул с облегчением и немедленно отправился в депо, где и был принят чернорабочим с платой пятьдесят копеек в день и десять копеек в час за сверхурочные.

После того я нашел маленькую комнату, с матрацем, но без подушек, за четыре рубля в месяц и, прописав свой паспорт, на следующее же утро к шести часам утра был в депо.

Хотя позапрошлую зиму я работал в вагонных мастерских в Вятке, однако разница была велика. Там я, главным образом, имел дело с деревообделочными станками, стругавшими обшивные, половые доски и вырезающими колодки, материал – дерево – был не тяжел; здесь же мне пришлось работать до изнурения. Переноска всяких тяжестей, рельсов, котлов, возня с тяжелыми домкратами, толкание паровозов на поворотный круг – словом, металл, металл и металл. Кроме того, почти каждый день я оставался на сверхурочные, приходя домой часов в девять вечера до того усталый, что не мог ни есть, ни читать.

За две недели моей работы в депо я раза четыре заходил в магазин Ржевского. Я покупал там колбасные обрезки, одиннадцать копеек фунт, и Ржевский два раза посылал меня с запиской на фабрику, во дворе, где аппетитные колбасные ребята наваливали мне множество этих обрезков даром.

Я видел, что, оставшись в депо, – останусь в депо и ничего больше. Между тем стало сильно таять и сильно греть солн-

це; началась северная весна.

Взяв расчет, я получил около четырех рублей и, как уже по разговорам знал о ближайших, графа Шувалова, приисках – что там можно всегда найти работу, то в один прекрасный день сел в поезд «зайцем»; после двух высадок за безбилетность, почти к вечеру я доехал до станции, откуда надо было идти пешком на прииски. Как я видел, к такому способу передвижения прибегает множество шатающегося по Уралу народа, а потому не обращал внимания на желчные припадочки кондукторов, привыкших ссаживать «зайцев» почти на каждой станции.

От станции шла дорога через рудники, заводы, на прииски. Вокруг стояли круглые горы, заросшие синим лесом, и, хоть стыдно сознаться, но, когда я прошел верст пять, – дикий мрачный вид этой страны золота посеял во мне наивные надежды. Как местами дорога уже протаяла, я время от времени поднимал разные камни, осматривая их с целью найти хотя бы небольшой самородок.

Было темно, когда показались огни казарм железных рудников. (Забыл название.) Мне никогда не забыть странной картины внутренности очень большой казармы, сложенной из гигантских бревен, куда я вошел просить ночлега. Вокруг стен шли нары, в прорывах нары стояли простые столы. С потолка освещала это жилие сильная керосиновая лампа. Железная печь посреди казармы, раскаленная докрасна, нагоняла тропическую жару, на ее длинной трубе, обходящей

чуть не все помещения, сушились портянки, висели мокрые лапти. Однако главным в картине был ярко-желтый цвет всего: пола, стен, столов, портянок, рубах, людей и, кажется, самого воздуха, как если смотреть через желтое стекло. Это была рудная пыль – пыль железной руды, скопившаяся годами, приносимая на ногах и в одежде.

Рабочие – все пришлые мужики – частью спали, частью пили чай из почерневших жестяных чайников; кое-кто играл в шашки или читал двухкопеечные лубочные издания Сытина.

Хотя я притворился опытным, разбитным бродягой, однако, по расспросам и разговорам моим, мужички скоро меня поняли и отнеслись добродушно; пил я с ними кирпичный чай, ел их пшеничный хлеб, слушал, присматривался.

Они предлагали мне остаться работать, но обстановка прииска, еще неведомая, тянула меня. Утром я пошел дальше, горя нетерпением и отвагой. Я уже слышал о «хищниках». Мне грезились костры в лесу, карабины, тайные приюты скупщиков, золото и пиры, медведи и индейцы... Заметив, что докатился до индейцев, я оглянулся, но никто не слышал меня на дикой дороге.

III

Шуваловские прииски представляли собой скопление изб, казарм, шахт и конторских строений, раскинутое частью в лесу, вдоль лесной речки. Здесь работало несколько тысяч человек, не считая старателей.

Порядок приема на работу был очень прост: каждый, кто хотел, приходил в контору, сдавал свой паспорт, получая взамен расчетную книжку и рубль задатка, а затем мог идти и селиться где и у кого хочет; благодаря этому был постоянный резерв свободной рабочей силы. Хотя все, кто выходил утром к наряду, получали работу (я не говорю о шахтерах, забойщиках и крепильщиках-плотниках – эти были как бы штатные, хотя тоже поденщики), в казармах постоянно валялись, дымя махоркой, лодыри; эти день-два работали, а день-два отдыхали, так как, закупив хлеба, мяса и табаку, они ели эти запасы, пока голод не заставлял их снова идти на наряд. Десятник механически отмечал в своей таблице рабочие дни каждого, за отработанное платилось, а прогульные дни абсолютно никого не интересовали.

Наверное, были среди постоянно сменяющейся массы рабочих воры, беглые каторжане, беглые солдаты, но их никто не тревожил. Фальшивый или чужой, краденый, паспорт покрывал все.

Бессемейных, пьяниц, босяков звали обидной кличкой

«галах», сибиряков – «чалдон», пермяков – «пермяк – соленые уши», вятских – «водохлебы», «толоконники», волжских – «кацапы», мордвинов – «лягушатники» («Лягва, а лягва. Постой, я тебя съем»). О них рассказывали, как один мордвин ищет другого:

– Васька.

Молчание.

– Василий.

Молчание.

– Василий Иванович.

Молчание.

– Василий Иванович, милый дружка, золотой яблочка, – где ты?

– Под кустом сажу; чилиль (трубку) курю.

Предпочтительной уральской одеждой, предметом мечты, были татарская шапка из завитого барашка с четырехугольным, черного бархата, верхом; высокие «приисковые» сапоги, выше колен, с ремешками под коленом и серебряными подковами; бумазейная рубашка с высоким воротником, застегивающаяся на синие стеклянные пуговицы, и шаровары из черного бумажного бархата (плис).

Щегольской верхней одеждой считался «азям» – род халата из верблюжей шерсти, с широким отложным бархатным воротником. Однако большей частью можно было встретить желтые полушубки да матерчатые пиджаки на вате, а то и на кудели.

Кроме лаптей, валенок и сапог, в ходу были, зимой, «бахилы» – мягкая высокая обувь из коровьей или лошадиной шкуры, шерстью внутрь, а также «поршни» – кожаные лапти.

Контора – большое здание из двухсотлетних бревен – была пуста, когда я вошел, только у окошка кассы один старатель получал деньги за сданное золото. Он принес с собой фаянсовую тарелку.

Кассир отсчитал ему две тысячи рублей золотыми пятирублевками.

Старатель завязал полную золотом тарелку в ситцевый платок и понес домой – как носят суп, спокойно и независимо.

После этой картины мой рубль задатка стал очень невелик для меня. Сдав паспорт, я отправился бродить по прииску и, заглянув в общие бараки, не захотел поселиться там. Вверху было жарко от железной печки, а в ноги тянуло холодом; между тем, за отсутствием места на нарах мне пришлось бы спать на земле.

Один рабочий направил меня к местному жителю-работнику, в его избу, и я поселился там в углу, за рубль в месяц. Кроме меня, был еще жилец – рыжий мужик, горький пьяница; вечером он с хозяином напивался, и они пели, сидя за бутылкой:

Скажи мне, звездочка золотая,
Зачем печально так горишь?

Король, король, о чем вздыхаешь,
Со страхом речи говоришь?

Хозяйка, пожилая беременная женщина, молча работала по хозяйству, ни во что не вмешиваясь.

Я спал в углу, на соломе. Она никогда не убиралась, лишь сметалась на день в кучу.

Таяло, снег сошел по прииску, лежал он еще только в лесу. От сырой грязи мои валенки развалились; сапожник отказался чинить их, – я надел лапти.

Как было не вспомнить ехидную поговорку, которой дразнили меня мои родители за проказы и леность к учению: «Гули да гули... Ан в лапти и обули».

Однако уметь надеть лапти не так просто. Мои сожители учили меня обвертывать ногу портянкой, чтобы было везде туго, ловко, не давило подошву, и я кое-чего достиг в этом искусстве.

На другой же день, едва в темноте порозовело небо, сквозь лес я вышел к наряду. Нарядчики послали меня качать из шурфов воду. Из барачков вышел народ, бабы и мужики, прибавилось к нему нас, новичков, человек двадцать, и, пройдя с полверсты лесом, мы очутились в лесной долине.

Здесь, на расстоянии пятидесяти сажен один от другого, были «шурфы» – неглубокие шахты для разведки золотоносного слоя, состоящего из песка и гравия. Эти шахты – три-пять саженей глубины – обслуживались ручным воротом с

бадьей и обыкновенным насосом, рукав которого, касаясь дна, выбирал воду.

Внизу работали двое: забойщик, то есть шахтер, рывший породу мотыгой, и плотник, ставивший деревянную клеть для избежания обвала стен шурфа.

Время от времени бадья вывертывалась воротом вверх, порода высыпалась, а штейгер, обходя шурфы, делал пробу ковшем: набросав в ковш песку, прополаскивал его водой и смотрел, остаются ли после удаления песка крупницы золота. Однажды он, найдя такие крупницы, стал показывать их мне; я притворился, что вижу, но на деле ничего не видел: что-то узкой полоской блестело на дне ковша, верно; хотя был то блеск оловянной полуды или воды, я не разобрал.

Я слышал впоследствии, что золото на Урале есть везде, по руслам речек и в старых песчаных слоях долин, но очень различен процент его содержания, – не везде выгодно его добывать.

Я работал с зари до зари. На обед давался нам час, на завтрак полчаса. В полдень штейгер отмечал в таблице крестиком рабочий день каждого; вечером еще раз проверял, кто работает вторую половину дня.

Плата была шестьдесят копеек поденно. На заборную книжку можно было брать в лавке предметы первой необходимости: табак, мыло, спички, белый хлеб, сушку, колбасу, пряники, орехи и т. п.

Расчет происходил по субботам в конторе, с вычетом за-

бора в лавке.

Время от времени старший рабочий командовал: «Закури!» – и мы, старательно, медленно свертывая «козью ножку» – покрупнее, чтобы дольше курилась, так же старательно, медленно досасывали ее и тем нагоняли минут пять-шесть отдыха.

Я работал то на откачке воды, то крутил ворот.

Неподалеку были старатели, и я один раз ходил смотреть, как они там живут. Старатели жили с семьями, в лесу, по берегу речки, в больших избах; кое у кого из них было хозяйство: птица, корова, лошадь. Тут же возле избы стоял вашгерт, промывательный станок, род ступенчатого корыта с задерживающими золотой песок планками. Насыпав в вашгерт породу, старатель прибавлял туда ртути, платина или золото амальгамировались ртутью. Эта смесь оставалась на дне вашгерта, а песок относил прочь водой, качаемой обыкновенным насосом. Впоследствии ртуть удалялась нагреванием. За платину контора платила три рубля пятьдесят копеек за золотник, за золото пять рублей. Мне рассказывали о селениях, где сплошь живут скупщики контрабандного золота, платящие по шесть и семь рублей за золотник.

Вначале я работал каждый день, но, когда хозяйка моего угла родила ребенка, скандалы, пьянство, рев и писк стали невероятны; я часто не мог заснуть, а потом перебрался в барак. Сознаюсь, здесь было тесно, но веселее, чем слушать каждую ночь – «Король, о чем вздыхаешь?». Однако

атмосфера лодырничества, картежа, работы через день-два и бесконечных рассказов, историй о самородках, кладах подействовала на меня: я стал тоже работать на хлеб, чай и табак – не больше, – мои потребности в то время были очень скромны.

Я получил место на нарах по странной оказии: накануне моего появления в бараке два парня шутя возились, боролись, гоготали. Один – тоже шутя – хлопнул приятеля ладонью по спине; тот упал и больше не встал. Таким образом, принимая во внимание полицию и следствие, освободилось два места.

Набрав, у кого мог, лубочных и старых, без корок, книг, я погрузился в чтение, иногда выходя искать среди леса и по берегам еще закрытой льдами речки – самородков. Однако, когда мне переставали давать в лавке провизию, я ходил на работу; между прочим три дня работал ночной сменой в настоящей шахте, где было очень сыро и куда спускались в бадье, стоя в ней и держась за канат.

Отверстие шахты выходило из невысокого холма, со свалкой вокруг него добываемой изнутри породы. Неподалеку была бутора – закрытый деревянный цилиндр, вращаемый в горизонтальном положении, внутри буторы песок обрабатывался ртутью, как в вашгерте.

Нет ничего удивительного, что при такой технически несовершенной добыче золота и платины некоторые старатели брали от конторы разрешение снова промывать отра-

ботанные кучи песку и, как говорили на прииске, добывали прилично.

Я стоял в паре с другим рабочим на воротах, выкручивая с десятисаженной глубины тяжелую бадью, полную золотосодержащей породы, вторая бадья за это время шла пустая вниз, там ее насыпали.

Три ночи я проработал под землей, где забойщик бил киркой впереди себя, я лопатой наваливал породу в тачку и катил ее к бадье, под вертикальный колодезь. Работать надо было все время согнувшись; забойщик, работающий сдельно, с куба, гнал во всю мочь, и это было мне непосильно. Хотя ночная смена оплачивалась рублем, я больше работать не захотел.

Мой интерес к приискам начал проходить. Между тем в бараке появился хищник – настоящий хищник уральской тайги, молодой человек, туалет которого был выдержан по всем правилам описанного мной местного щегольства; у него, видимо, были деньги, потому что он совсем не работал, только жил в бараке – может быть, с какими-нибудь конспиративными целями.

При всеобщем жадном внимании хищник рассказывал о жизни себе подобных.

– Есть, – говорил он, – такие золотые места, о которых знаем только мы, хищники. Есть верховое золото: сорвешь пласт дерна и с корешков травы стряхиваешь, как крупу, чистое золото. Есть речки, ручейки в горах, где на пуд песка

– золотник платины. Есть самородное золото, содержат его так называемые «карманы» – гнезда мелких самородков и крупного золотого песка; попади на такой карман, будешь всю жизнь богат.

От этого хищника я узнал, что тайные золотоискатели ходят по три-четыре человека и нападают на жилу по известным только им приметам; больше же делают пробу: бьют шурфы, моют песок речек и ям в ковше. У них всегда с собой ружья, насос из жести, ртуть, толокно и сухари. Восхищенный романтизмом такой жизни, я предложил хищнику работать вместе, на что он согласился, но просил подождать дней десять, когда придет какой-то его знакомый.

Между прочим, он рассказывал, что управляющий одних приисков, известный своей жестокостью, был пойман хищниками в лесу и проработал у них три дня, качая воду. Кончив работу, хищники уплатили ему по одному рублю двадцать копеек за день, а с собой унесли на пять тысяч рублей платины.

Однажды ночью хищник исчез, как пришел, – сразу; кое-кто видел его вечером за баракком в таинственной беседе с двумя бородачами; еще говорили, что его ищет полиция. Незадолго до его исчезновения один старик, серьезный и хворый, часто беседовавший со мной о жизни и людях, сказал мне, что ему один хищник, умерший год назад в больнице, сделал признание о зарытых хищниками двух голенищах, полных золотого песка, под старой березой, в таком-то селе.

Название этого села я забыл. Я рассказал историю о голенище мужику с рыжей бородой, Матвею, с которым я сблизился, так как, по словам Матвея, он был, где и я, – на Волге, на Каспийском море, в Баку.

Мы уговорились идти искать клад, взаимно заражая друг друга картиной благоденствия в случае успеха. Однако после того, как я получил расчет (рубля два) и вышел с Матвеем на лесную дорогу, спутник сообщил мне, что он бежал с каторги за – будто бы – клевету на него о поджоге им трех домов в Костромской губернии. Затем на первом же ночлеге (дом стоял на краю деревни) у одинокой женщины с тремя детьми этот благодушный, благообразный старичок, лежа со мной вечером на полатах, предложил мне убить хозяйку, детей и ограбить избу: в избе было чисто, хозяйственно, была хорошая одежда, полотенца с вышивкой, стенные часы и два сундука. Бандит, видимо, думал, что у хозяйки есть деньги. Но он предложил сделать это дня через два, вернувшись к деревне окольным путем, ночью, теперь же прожить здесь еще завтрашний день, чтобы высмотреть, где деньги.

Он говорил так страшно просто и деловито, что я испугался. Видимо, он нуждался в товарище для ряда преступлений и тщательно вербовал меня.

Из опасения быть ночью убитым, я поступил так: приговорно то соглашаясь, то сомневаясь, отложил полное решение до завтра и всю ночь не спал, карауля Матвея, который спал крепко, храпя.

За всю ночь золотой дым вылетел из моей головы. Утром, взяв котомки, мы вышли от ничего не подозревающей женщины, которая дала нам на дорогу яиц и хлеба.

Отойдя немного от деревни, я в упор заявил Матвею, что никуда с ним не пойду, так как быть в компании с негодяем и убийцей мне отвратно.

Мужик опешил, он пытался уверить меня, что пошутил, соглашаясь идти только добывать золото, но в его голубых глазах лежала подозрительная муть, может быть, прямо угрожающая; поэтому, наматерившись взаимно, мы расстались. Он побрел вперед, а я вернулся и предостерег женщину, чтобы она не пускала снова этого Матвея ночевать, вкратце рассказав суть дела.

Слушая меня, она была бела, как ее полотенца, и заголосила, что тотчас побежит к уряднику. Я пошел обратной дорогой и застрял на несколько дней на чугуноплавильном доменном заводе, где мне дали работу.

IV

Теперь мне интересно вспоминать свои работы, потому что прошло много лет, стерших ощущение грязи, вшей, изнеможения и одиночества, но тогда это было не так интересно, – было разнообразно и трудно.

Сдав паспорт, получив традиционный рубль задатка и сунув свою котомку на нары в рабочей казарме, я был послан в сарай просеивать древесный уголь на поставленном наклонно большом прямом решете из проволоки. Кроме меня, тут работал еще один человек, дюжий мужик. Плата была семьдесят пять копеек поденно. Мы бросали деревянными лопатками уголь на решето, крупные куски отскакивали, а мелочь просыпалась сквозь петли решета.

Я возвращался вечером в барак более черный, чем трубочист или негр. Кроме того, было тяжело дышать сумерками, составленными из угольной пыли и весенней сырости.

Кое-как отмывшись, я ставил на общую плиту свой жестяной чайник, пил кирпичный чай с молоком и белым хлебом из сибирской муки; иногда жарил свинину. Обычная пища рабочих была – чай, картошка и хлеб; по праздникам они варили мясо, в особенности семейные; здесь было много татар, у которых всегда пахло кониной. По глупости я тогда еще не ел конины, а впоследствии на Благодати, около села Кутвы, не только привык, но полюбил конское мясо.

Казарма была разделена коридором – направо шли помещения для семейных, налево – для холостых и одиноких.

Мне приходилось часто писать письма неграмотным, и меня всегда трогала вечная забота рабочих послать домой деньги, хотя бы пять-три рубля. Письма надо было писать чувствительно, длинно, перечислять поклоны каждому в отдельности, родственнику и знакомому («Еще кланяюсь Тимофею Ивановичу» и т. д.). Ритуал требовал стереотипного начала: или «Во первых строках моего письма», или «Лети, мое письмо, туда, где примут без труда»... Написав, я читал вслух, а отправитель слушал меня с растроганным лицом и, случалось, говорил: «Тебе бы, Лександра, в конторе гумаги писать, а не в галахах ходить».

Однажды несколько человек из нашего помещения чем-то кровно обидели во время стряпни у плиты молоденькую татарку, жену рослого и очень сильного молодого татарина. Этот красавец татарин, на стороне которого я всецело был, бледный от ярости ворвался к нам, когда все сидели за общим столом, за чаем, и завертел тяжелой табуреткой над головой, держа табурет за ножку, с такой силой, что поднялся ветер. Он кричал только одно: «Убью! Убью! Убью!» Хотя было тут человек пятнадцать здоровых мужиков, сразу стало ясно, что сопротивление этому одному – невозможно. Все побледнели, пригнулись.

В таких случаях мне делается весело. Как все молчали, а табуретка почти касалась голов, я встал и, взяв татарина за

руки, сказал: «Брось, Абдул, ты видишь, что они дураки».

Он посмотрел на меня столь жутким взглядом, что я мысленно попрощался с жизнью, но, глубоко вздохнув, бросил табурет в угол, и орудие разлетелось на куски; после того татарин ушел, хлопнув дверью так сильно, что зазвенело в ушах.

У меня тоже было столкновение: второй просевальщик угля, здоровенный мужик, забрал мою хорошую лопатку, подсунув плохую свою. После спора я схватил его за горло, и так как я решил бить, то этот впятеро сильнейший меня человек тотчас бросил лопату, а через день мы опять мирно беседовали.

Вскоре меня назначили в ночную смену: возить на домну руду. Рабочие наваливали подводу рудой, я шел рядом с подводой по отлогому, идущему вверх деревянному настилу к отверстию домны, где, вместе с другими рабочими, опрокидывал подводу и съезжал вниз, за новой порцией.

Из домны вырывался озаряющий все вокруг блеск пожара, сеявший бессонное настроение, возбуждение; подмерзший снег и лед луж пахли весной. Я погонял лошадь и мечтал о тепле казармы, потому что мой беличий пиджак давно был сменен на серый матерчатый, подбитый куделью.

После возки руды я работал дней пять внутри завода, таская и укладывая в штабеля отлитые чугунные болванки.

На земле, перед отверстием домны, были вырыты, расходясь во все стороны и соединяясь желобками, плоские фор-

мы болванок. Рабочий пробивал пробку внизу домны, и из отверстия брызгал белый блеск, ослепительный, как блеск магния. Белые брызги молнии разлетались снопами, когда лилась струя чугуна. Она медленно растекалась по формам; становилось жарко; чугун подергивался красной пленкой, мерцал, вспыхивал, принимал устойчивый красный цвет и медленно гас, делаясь черным. Когда он остывал, мы таскали эти болванки наружу и складывали их, как дрова.

Один рабочий говорил мне, что если мокрую руку быстро погрузить в свежерасплавленный чугун и быстро выдернуть, то не будет даже малейшего ожога. Однако свидетелем такого опыта я не был, лишь слышал подтверждение от других. Возможно, что мгновенно образующийся слой пара предохраняет тело от ожога.

Таяние то усиливалось, то останавливалось благодаря заморозкам. В середине апреля, взяв расчет (рубля три), я отправился в Пашийский завод вместе с двумя рабочими. Шел слух, что на лесных заводских рубках можно хорошо заработать, если же дожидаться так называемой «скидки дров» в горную речку (за что платилось от пятнадцати до сорока копеек с погонной сажени, при длине полена в полтора аршина), то, если не жалеть себя, можно – говорили – в три-четыре дня заработать двадцать-тридцать и больше рублей.

Я забыл сказать, что, как началась весна, очень много крестьян отправилось с приисков и заводов в свои губернии на полевые работы. Все они за зиму скопили десятки, а то и

двести-триста рублей денег, хотя таких «богачей» было, конечно, мало; шли они к железной дороге группами, потому что бродяги подстерегали и убивали одиноко идущих.

Мне очень неприятно теперь, что моя память, сравнительно легко удержавшая моменты деятельности, обстановки и сцен, почти бессильна установить картину дорог, направлений и числа дней, а также множества ночлегов в пути. Рассеянный по природе, я был глубоко рассеян во время пути; рассеян я и теперь; когда я иду, я только смотрю, почти без мыслей о том, что вижу. Мое внимание скользит, бесцельно перебегая от внешнего к внутреннему, такому же случайному, как мелькающая обстановка дорог. Способность к ориентации – самое слабое мое место. Поэтому когда я был дроворубом, то, отправляясь всего за три версты из леса к зданию лавки, на берегу речки, почти всегда сбивался с дороги – как вперед, так и назад, хотя по тропинкам и обугленному пожаром в одном месте пространству отлогих гор был путь очень простой. Вероятно, этой бездарности я обязан одной встрече с медведем, от сопения которого за моей спиной избавился только тем, что последовал совету дроворуба Ильи – притвориться работающим около дерева и не обращать на Михаила никакого внимания. Сбившись, я попал в чащу, а за мной, слабо взревнув, побежал этот самый Михаил. Стерпев естественную панику, я встал около толстого кедра и начал обтесывать его топором. Медведь долго стоял сзади меня, сопя и фыркая, но не тронул, затем медленно обошел де-

рево и, видя, что я точно работаю, сшиб лапой тонкий гнилой пенёк. Вдруг, к облегчению моему, послышались голоса рубщиков с соседнего участка, и медведь убежал, а я долго затем сидел, откуриваясь махоркой и не смея двинуться с места; потом рубщики проводили меня до тропы.

В Пашийском заводе, вокруг которого расположилось большое село, мои спутники отделились: один встретил земляка и пошел с ним работать на домну, второй спутник, получив в конторе задаток, запьянствовал, а я был послан рубить дрова. Проехав сколько-то верст железной дорогой, я пешком прибыл на берег лесной речки, где стоял деревянный дом – лавка и жильё табельщика с его семьёй. Отдохнув, выпив чаю, я получил топор, двухручную пилу, четыре железных клина, фунт кирпичного чая, три фунта сахара, двадцать фунтов пшеничного и десять черного хлеба, новый жестяной чайник, фаянсовую кружку, напильник для точки пилы и полфунта «легкого» асмоловского табаку, фунт соли и десять фунтов солонины, ещё – мешок тащить поклажу. Все это, кроме инструментов, было мне записано в кредит, в счёт работы.

Табельщик рассказал, как найти назначенное мне в лесу жильё дровосеков, и, порядочно поплутав, уже к сумеркам, то есть часа через три, я увидел стоящее перед тысячелетним кедром, разветвления которого сами по себе достигали толщины старых деревьев, а ствол был $2 \frac{2}{3}$ сажени в поперечнике, очаровательное глухое бревенчатое жильё, с низ-

кой дверью и железной трубой.

Измученный тяжестью поклажи, я толкнул ногой дверь. Она была не заперта, в бревенчатой хижине никого не было, но на столе, поставленном перед железной печкой, в проходе меж узких нар возле стен покоились следы жизни: недопитая бутылка водки, кружка, хлеб и пачка махорки. Разное тряпье – онучи и прочее – валялось на одной наре. В углу стояло шомпольное ружье. Как мне объяснил табельщик, что в этой избе живет только один дроворуб Илья, то я решил, что попал куда надо; действительно, скоро ввалился в избу огромный рыжий мужик, добродушный Геркулес с рыжей бородой, толстыми губами и глазками-щелками, слегка заикавшийся; его звали Ильей, а потому я успокоился; мы развели огонь, стали варить мясо, пить чай, водку и разговорились.

Узнав, что я впервые в лесу, Илья многое рассказал мне о том, как надо работать.

Во-первых, чтобы пилить двухручной пилой одному, надо снять вторую деревянную ручку, а зубья пилы развести с такой правильностью, чтобы левая и правая сторона их была пряма, как струна. Илья тут же осмотрел мою пилу и наточил ее напильником.

Во-вторых, приступив к дереву, надо смотреть, на какую сторону оно имеет хотя бы малейший наклон. Тогда делается с другой стороны глубокий надрез пилой по направлению желательной линии падения дерева, пила вынимается, и рубщик загоняет в щель клин, колотя по нему, пока дерево,

накреньясь, не начнет падать. При толстом стволе, когда почти нет места двигать пилу, пропиливают, сколько можно, но пропиливают также с противоположной стороны, ниже первого надреза.

Затем действуют клином.

Тонкие деревья подпиливаются с одной стороны и подсекаются топором с другой, ниже пильной щели.

Впрочем, на другой день, когда пришел табельщик и отвел мне участок, Илья на деле показал все приемы рубки.

Стояло морозное утро. Оставшийся местами на четверть аршина толщины снег покрылся налетом, в который ноги мои проваливались; лапти были набиты снегом. Выйдя рано утром, я дрожал; через час от меня валил пар, и рубаха стала мокрой. Я не сразу научился владеть пилой. Она заскакивала, упиралась, сгибалась, лишь опыт нескольких часов заставил слушаться пилу, ходить ровно и легко. Она была так остра, что разрез ствола толщиной в две четверти занимал не больше двух минут.

Свалив дерево, я отрубал сучья, отмеривал по стволу полуторааршинное расстояние и распиливал ствол на части, начиная с толстого конца. Затем колот эти круглыши, вгоняя в сделанную на конце обрубка топором трещину клинья, один за другим, пока круглыш не распадался. Для очень толстых деревьев я вытесывал добавочные сосновые клинья.

За куб дров завод платил шесть рублей сорок копеек. Только очень опытные дроворубы могли делать полкуба в

день, и то в том случае, если попадался хороший участок: сплошь сосновый, толстоствольный и без поросли, очень затрудняющей возню с ноской и складыванием дров.

Работа оказалась неимоверно тяжела, так что я много раз бегал в хижину – то переобуться, то отдохнуть и пить чай. Мои ноги были всегда мокры к вечеру, лапти поэтому сушились над печкой.

А гигант Илья, выйдя до рассвета, возвращался в потемках, сделав свои полкуба, как детскую игру; он еще был в состоянии печь – как он это называл – «пельмени», но на деле просто плоские пироги из пресного теста с сырым мясом. От этих плохо пропеченных пирогов у меня происходило расстройство желудка, но Илья, напившись (именно напившись, как воды) водки, пожирал свою стряпню в огромном количестве и, заблагодарушествовав, усердно просил:

– Александра, расскажи сказку!

Илья был моей постоянной аудиторией. Неграмотный, он очень любил слушать, а я, рассказывая, увлекался его восхищением. За две недели я передал ему весь мой богатый запас Перро, бр. Гримм, Афанасьева, Андерсена; когда же запас кончился, я начал варьировать и импровизировать сам по способу Шахерезады. Если Илья видел, что я устал или не в настроении, он заботливо поил меня водкой (всегда четверть стояла у него под нарами) и кормил своими дымно пахнущими «пельменями». Стоило посмотреть, как он, торопливо жуя и понукая: «Ну, ну... а царь что сказал?» – ревет, как

бык, над «Снежной королевой» Андерсена, дико, до слез, хочет над приключениями Иванушки-дурачка и задумывается, распустив толстые губы, над «Аленьким цветочком».

Иногда, уже улегшись и потушив лампу, я слышал его хриплый, заикающийся бас:

– Угробила она его, ведьма...

День шел за днем, а работа моя двигалась плохо. Мне попался скверный участок, ель и сосна, а ель, как известно, часто завита внутри штопором, так что раскалывать ее очень хлопотливо. Однако за две недели я нарубил куб и три четверти куба.

Иногда я тосковал и не мог работать. Снег везде сошел; запахи и сырость весны были тревожны; дремучий, молчаливый лес окружал меня; раздавались здесь только отдаленный звук топора Ильи и – изредка – треск в чаще неизвестного происхождения. Стук упавшей шишки, стук дятла, скачок белки, хвост убегающей лисицы – все это в течение дня, как события. Мальчиком я стремился к дикой жизни в лесу, а теперь, еще не понимая, чувствовал, как такая жизнь, в сущности, мне чужда. Кроме того, у меня не было будущего. Босьяк – лесной бродяга... чужой здесь и чужой там.

Речка, бывшая неподалеку, еще не вскрылась, однако сквозь лед начала проступать вода... Я ходил смотреть заготовленные для скидки дрова. По обоим берегам, составленные в три-четыре яруса, тянулись на несколько верст высокие поленницы, навезенные сюда еще прошлым летом. Они

подступали к самому обрыву берега. Сброшенные в полуую воду, дрова приплывали в заводскую запруду. За ближайший к воде ряд платили десять копеек за погонную сажень, второй стоил пятнадцать копеек, третий – двадцать пять копеек и четвертый – сорок копеек. Впоследствии, хлынув сюда толпами из окрестных селений – даже и из дальних, – мужики с бабами первый ряд сбрасывали почти мгновенно с помощью рычагов, сунутых под поленницу, но с другими приходилось трудно, а насколько труднее – расскажу дальше.

Время от времени я ходил за провизией, а Илья ездил в село за водкой и мукой.

Когда сошел весь снег, а лед начал постреливать, в нашу тесную хижину прибыло человек тридцать – мужики, бабы, парни и девушки – на скидку, которая ожидалась со дня на день. Все почти крестьяне приходили семьями.

Было уже так тепло днем и не совсем холодно ночью, что часть народа жила и спала у костров. Чтобы не терять времени, мужики, имевшие пилы, занялись рубкой, свалив для начала тот тысячелетний кедр, под шатром которого стояла наша хижина. Я не мог понять, зачем они взялись за это трудное и маловыгодное дело, так как лесу кругом было более чем довольно, а кедр мог дать самое большее полтора куба при затрате времени целой толпой всего дня. Хотя, действительно, кедр особо выделялся: своей громадой среди других пород он обращал внимание, весь его вид будто говорил: «Я не для дров».

Дерево было окружено толпой, и его начали пилить со всех сторон в четыре пилы. Я ушел утром за провиантом и вернулся часа через три. Весь ствол кедра у корней был истерзан, испилен и изрублен. За толстые ответвления вверху были накинута веревки – валить кедр скопом, когда ствол прорубят достаточно. Я ушел работать, после чего, возвращаясь к заходу солнца, увидел падение дерева. Его сердцевину не смогли дорубить, но собственная тяжесть кедра, покоившаяся теперь на слабом основании, в связи с тягой веревками, обрушила великана. Казалось, что упала целая роща. На другой день началась скидка, а дерево так и осталось лежать до неизвестных времен.

Между тем эти пятнадцать-двадцать человек, занявшись подлинной рубкой дров, легко могли бы поставить за день пять-шесть кубов и заработать рубля по два.

Лед шел с утра, за ночь он поредел, река поднялась до краев обрыва, и рабочие кинулись занимать участки. Десятник отводил столько, сколько просила каждая группа или семья. Мне дали, в общей сложности, сажень пятьдесят дальних и ближних дров. На другом берегу засуетились тоже артели, и река в лесу приняла вид битвы; куда ни взгляни, летели, кувыряясь над ревушим течением, стаи черных поленьев, и гул ударов их по воде гремел, как пальба. Я никогда не видел такой исступленной, такой бешеной работы. Первые передние поленицы были сброшены быстро; началась мука над третьим, над четвертым рядом. Потому что теперь каждый

бросок требовал меткости и основательного размаха.

Часть народа бегала по берегу, подбирая и сбрасывая в воду недоброшенное. Работающие оставались у реки до конца скидки: ночью в лесу пылали сотни костров, возле которых отдыхали и ели, но спать никто не ложился три дня, разве самые немощные. Я работал день, ночь и утро следующего дня, сделав всего двадцать две сажени, больше не мог. Я был полумертв от изнурения.

Сильное эхо окрестностей сообщало ночью картине скидки характер дьявольской оргии, особенно когда на красном блеске костров, обвеянные дымом и речным паром, мелькали всклокоченные черные фигуры. Удесятерая крики, гул ударов о льдины и воду бревен, тысячами летевших сверху в стремительный поток, полный водоворотов, эхо неистовствовало дико и оглушительно. Вверх и вниз по течению работали тысячи людей.

На четвертый день скидки утром я вышел из хижины. В лесу было тихо. Скидка окончилась. Я два дня просидел безвыходно дома, оправляясь после непосильного потрясения – зверски тяжелой работы.

Пройдя немного к реке, я услышал странные звуки – вздохи, стоны, шепот и причитания. Местами кусты шевелились. Это возвращалась наша партия, человек сто. Мужики шли с трудом, еле волоча ноги, опираясь на палки. Некоторые карабкались на четвереньках. Несколько баб сидело под кустами, они маялись, качая головой из стороны в сторону, или,

наваливаясь животом на сложенные руки, тихо ревели. Лица всех были черны и истощены. Один парень лежал на спине, навзничь, с открытым ртом, быстро, часто дыша.

Весь этот день и следующий вокруг нашей хижины был сплошной лазарет.

Илья сильно исхудал; лицо у него почернело, опухло, но он был доволен, потому что выгнал тридцать рублей.

После скидки я работал три дня с одной партией по сплавке. Рабочие идут с острыми баграми по обоим берегам речки, сталкивая в воду застрявшие в траве и выплеснутые водой на берег поленья. Иногда возле кустов образуются настоящие заторы. Их расталкивают. Так партия действует до самого завода – до огромной запруды, где плотно сбившиеся дрова буквально вытесняют воду, и по этому настилу может свободно пройти рота солдат.

С рассвета до вечерней зари я шагал по колено в ледяной воде и не схватил даже насморка, тогда как два раза лежал в вятской больнице больной суставным острым ревматизмом после пустяковой простуды. Я хорошо помню, что ноги мерзли только в начале дня, потом им становилось горячо. Ночью, ночуя в попутной хижине дроворубов, я, конечно, сушил портянки и лапти – как будто утром снова не предстояло проваливаться по колено в трясину и набухший по берегам рыхлый лед.

Плата была один рубль в день.

Утром четвертого дня я остался там, где провел ночь: в до-

ме-лавке, с квартирой табельщика, подобном первому, куда мной были уже сданы инструменты. Отсюда на легком самодельном плоту отправился в завод старик дроворуб, худой и егозливый человек; он взял меня на плот. Мы проскочили невредимо через десятки кипящих пеной порогов. Старик имел задачу сталкивать застрявшие на порогах дрова – целые поляны дров, и эта задача была благополучно выполнена.

Выехав в восемь часов утра, к закату солнца мы были уже на заводе.

До сих пор я с удивлением и страхом вспоминаю быстроту плота, его утлость, мое тогдашнее бесстрашие и рассеянные по руслу зубы порогов, среди которых наш плот вертелся, как балерина. Но старик был хладнокровен, быстр и опытен. Он успевал отталкиваться от камней, сбивать дрова, зацепляться багром за камень и держаться так, покуда расталкивал дровяной затор, – закуривать, балагурить и править.

Про этого-то самого старика, семидесятилетнего, хилого на вид, я потом слышал, что он работает исключительно одним топором и может выставить в день куб дров.

Получив расчет и прожив в заводском селе два дня, в избе старика плотовщика, поев хорошо пельменей, угостясь водкой, я получил расчет (рублей семь) и направился дальше.

Севастополь

I

Я приехал в Севастополь на пароходе из Одессы, где имел почти деловое свидание с Геккером, сотрудником «Одесских новостей».

Я получил в Киеве явочный пароль: «Петр Иванович кланяется», кроме того, у Геккера мне советовали получить «литературу» для Севастополя.

Я отыскал Геккера на его даче на Ланжероне. Разбитый параличом старик сидел в глубоком кресле и смотрел на меня недоверчиво, хотя «Петр Иванович кланялся».

Он не дал мне литературы, сославшись на очевидное недоразумение со стороны Киевского комитета партии с.-р.

Впоследствии мне рассказывали, что мое обращение с ним носило как бы характер детской игры – предложения восхищаться вместе таинственно-романтической жизнью нелегального «Алексея длинновязого» (кличка, которой окрестил меня Валериан – Наум Быховский), а кроме того, я спокойно и уверенно болтал о разных киевских историях, называя некстати имена и давая опрометчивые характеристики.

Я провел ночь в дорогой гостинице, ожидая ежеминутно

ареста; мне казалось, что весь город знает о моем фальшивом паспорте. В каждом встречном я видел шпиона.

Утром я сел на пароход в третий класс и через ночь был в Севастополе; по дороге у меня украли пальто.

Неподалеку от тюрьмы стояла городская больница. В ней был смотрителем один старик, бывший ссыльный; к нему я пришел со своим паролем, и он отвел меня к фельдшерице Марье Ивановне, а та отвела меня к Киске, жившей на Нахимовском проспекте.

Киска была центром севастопольской организации. Вернее сказать, организация состояла из нее, Марьи Ивановны и местного домашнего учителя, административно-ссыльного.

Учитель был красной, ничего революционного не делал, а только пугал остальных членов организации тем, что при встречах на улице громко возглашал: «Надо бросить бомбу!», или: «Когда же мы перевешаем всех этих мерзавцев!»

Киска выдала мне двадцать рублей, смотритель больницы пожертвовал свое старое ватное пальто с кучерявым сине-фиолетово-коричневым верхом, и я поселился на отдаленной улице, недалеко от тюрьмы, в подвальном этаже. Комната была пуста; ни одного предмета из мебели; там лежал один матрац. Я спал, ел и писал на полу. Утром меня будила игра часов за стеной; они вызванивали мелодию:

Нелюдимо наше море,
День и ночь шумит оно.

В роковом его просторе
Много бед погребено.

Впоследствии мне часто вспоминался перебегающий напев мелких колокольчиков, спокойный и безнадежный. Хозяйка, жена матроса, сказала мне, что этот будильник привезен из Болгарии.

Несколько дней я ничего не делал, кроме того, что знакомился с Севастополем и участвовал в некоторых прогулках; так, однажды мы, то есть Марья Ивановна, Киска и я, ходили в Херсонес, смотрели на окрестности сквозь цветные стекла херсонесского монастыря и посетили небольшой археологический музей при раскопках древнего Херсонеса. Я спросил старика сторожа, увешанного медалями:

– А можете ли вы показать мне пуговицу от штанов Александра Македонского?

Сторож разгорячился.

– Тут много бывает публики, – сердито отчитал он меня. – Сколько народу ходило, а никто таких глупостей спрашивать не позволяет!

Всю дорогу обратно я слушал брюзжание надувшейся Киски, оскорбленной моей некультурностью и презрением к археологии. Действительно, мне было скучно в музее, среди мертвых вещей. Однако мне понравились вкопанные на перекрестках миниатюрных улиц Херсонеса огромные глиняные амфоры; жители собирали в них дождевую воду.

Киска имела связи среди рядовых крепостной артиллерии и матросов флотских казарм. Сама она была выслана из Петербурга в Севастополь на три года под надзор полиции. Я долго ломал голову, стараясь понять, чем руководствуется охранное отделение, посылая революционеров и революционерок в такие центры военной силы, как Севастополь, но никакого объяснения не нашел.

Дело происходило в октябре 1903 года, после многих забастовок и демонстраций по таким крупным городам, как Одесса, Екатеринослав, Киев и другие.

Однажды ночью на Артиллерийской слободке состоялось первое мое свидание с рядовым Палицыным, невзрачным рябоватым солдатиком. Через Киску он распространял в казармах революционную литературу. Киска, бывшая тут же, убедила Палицына созвать собрание рядовых, на котором я должен был с ними говорить.

На другой день поздно вечером я встретил Палицына, как мы условились заранее, в одном закоулке, и он провел меня тайным путем в казарму, вернее – в небольшое строение около береговых укреплений. Из предосторожности огонь не был зажжен; собрание произошло в полной тьме, где блестяли только искры махорочных папирос. По-видимому, народу было много, так как дышалось и *ступалось* с трудом.

Я сказал им так много и с таким увлечением, что впоследствии узнал лестную для меня вещь: оказывается, один солдат после моего ухода бросил с головы на землю фуражку и

воскликнул:

– Эх, пропадай родители и жена, пропадай дети! Жизнь отдам!

Такие собрания повторялись несколько раз, но они происходили, ввиду осведомленности начальства о первом собрании, на пустырях, за первым от Севастополя железнодорожным туннелем.

Среди матросов особенно выделялся своей популярностью, конспирацией и энтузиазмом один ефрейтор машинной команды, сормовский рабочий. Его прозвище было Спартак. Это был худощавый человек лет тридцати, со следами оспы на желтом лице, гибкий и своеобразно красивый. Моя задача, как внушила мне Киска (ее прозвище для кружков было Зоя, Киской ее звали городские знакомые), состояла в том, чтобы привлечь Спартак на сторону социально-революционной партии. Спартак симпатизировал эсерам, однако его отталкивал от их программы так называемый «индивидуальный террор»; этот моряк находил более целесообразным массовый террор, устанавливаемый программой с.-д.

Я несколько раз встречался с ним на квартире у Киски и за двором флотских казарм, однако вполне его переубедить не мог. Иногда, казалось, он соглашался, а затем, встретаясь другой раз, довольно стройно и доказательно спорил.

Его привлекала земельная часть программы эсеров, отталкивал террор. А так как в Севастополе был комитет с.-д.

партии, поставленный и обслуживаемый гораздо лучше, чем наш, то и влияние на Спартака с той стороны было сильнее нашего. Между тем залучить этого человека было бы крайне выгодно: матросы слепо доверяли ему; на какую бы сторону он ни пошел, на ту сторону пошли бы и матросы.

Раздумывая и колеблясь, Спартак поступал мудро, как Соломон: он устраивал собрания равно для с.-р. и с.-д., а сам, присутствуя на них, слушал, сравнивал и решал. Впоследствии он окончательно примкнул к с.-д. партии.

II

Стояла прекрасная, задумчиво-яркая осень, полная запаха морской волны и нагретого камня.

Между тем я побывал на Историческом бульваре, Малаховом кургане, на особенно интересном севастопольском рынке, где в остром углу набережной торчат латинские паруса, и на возвышенной середине города, где тихие улицы поросли зеленой травой. Впоследствии некоторые оттенки Севастополя вошли в *мои* города: Лисс, Зурбаган, Гель-Гью и Гертон.

От Графской пристани на Северную и Южную стороны, через бухту, ходили пассажирские катеры; на них я ездил к собиравшимся среди пустырей матросам. Спартак встречал меня в условленном месте и приводил в пункт, где, казалось, никого нет. Спартак условно свистел, тогда из-за кустов, бугорков, камней вдруг поднимались десятки матросов; они сходились, и начиналась беседа. Матросы, на всякий случай, брали с собой водку, гармонии и балалайки, чтобы внушить полиции, если она появится, невинную мысль о безобидной пирушке.

Если Спартак видел, что матросы слушают меня вполне одобрительно, он исправлял впечатление, наводя «критику» и ставя вопросы в духе с.-д.; но однажды я его побил в споре.

– Конечно, – сказал он, – я меньше вашего учился и не

могу хорошо говорить, а чувствую, что прав – я.

Через несколько дней возник вопрос: съездить в Саратов за революционной литературой. Почти немедленно за этим стало известно, что Спартак уезжает в отпуск, что искуснейшие эсдеки едут с ним, желая окончательно вырвать его из рук еретиков эсеров, и Киска потребовала, чтобы я разыскал в поезде, полном матросов, Спартака. Я должен был уговорить его остаться на несколько дней и употребить все усилия, чтобы склонить его на свою сторону.

Поезд отходил через час. Киска ждала меня на Историческом бульваре. Я обошел все вагоны, вглядываясь во все лица, даже решался опрашивать матросов, но нигде не нашел Спартака. Совершенно измученный, я выскочил из поезда после второго звонка и пришел к взбешенной Киске также в состоянии крайнего раздражения: подобное соперничество из-за одного человека, хотя бы и нужного, казалось мне унижительным. Киска сказала:

– Я вам говорила, что его прячут! Прячут от нас. Вы должны были сделать это во что бы то ни стало.

Таким способом от меня трудно добиться чего-нибудь. Мы расстались, не попрощавшись. На другой день я поехал в Саратов, взял там кипу революционной литературы и захватил случайно оказавшегося в городе эсера, семинариста Пятакова из Пензы. В 1902 году Пятаков вместе с другими комитетчиками организовал мой побег из Оровайского батальона (я был рядовым).

– Поехал бурсак по свету, – сказал Пятаков, вваливаясь в вагон.

Это был покладистый молодой человек с вполне бурсацким аппетитом и большой, большей, чем у меня, эрудицией. В Севастополе он вел пропаганду среди солдат.

На обратном пути в третьем классе Харьковского вокзала за стол против меня сел молодой человек в форме Гензарского батальона из Пензы. Он приглядывался ко мне. Я думал, что меня арестуют. Но офицер сказал:

– Не бойтесь. Я вас знаю: вы – Гриневский? Вы бежали в прошлом году, предварительно разбросав прокламации? (Точно: я разбросал их.)

Что-то мне подсказывало признаться.

– Ничего. Я вам сочувствую! – сказал офицер, протянул мне руку и ушел.

Покачиваясь от не прошедшего вполне страха, я разыскал Пятакова, евшего колбасу с булкой, сидя на верхней полке вагона; вскоре затем раздался успокоительный звонок.

Следовательно, офицер не солгал.

III

Вернувшись в Севастополь, я застал у Киски ее младшую сестру, жену художника Теренина, сына сибирского миллионера. Теренин жил в Швейцарии, оттуда и приехала сестра Киски. Вскоре приехал из Петербурга брат сестер, Леонид, студент, со своим приятелем Ровногубом. Через несколько дней все они поселились на Артиллерийской улице: Киска в комнате небольшого дома, а студенты в доме напротив, в одной из очень хороших квартир. Я продолжал жить на своем матрасе, слушая по утрам «Нелюдимо наше море», и у меня никогда никто не бывал. Литературу я хранил у себя.

Пятаков поселился неподалеку от Артиллерийской, почти в центре города. Как он, так и я, жили на деньги комитета.

К тому времени в Севастополь приехал Быховский (Валерьян) – живой черненький человек, любивший, если его сравнивали с Оводом, героем известного романа, и пытался взять в свои руки бразды правления. Однако с Киской он сладить не мог, да и я уже пользовался известным авторитетом. Валерьян очень меня любил – думаю, любит и сейчас. Однако это не мешает мне сказать, как они с Марьей Ивановной отправились по делам в Ялту (за сбором денег), а оттуда бежали от полиции через горы пешком в Севастополь. Чрезвычайно гордые своими приключениями, сидели они в гостиной квартиры Леонида и Ровногуба. Леонид иг-

рал вальс Разаса «Над волнами», и весь этот маленький мир безыскусственно смелых людей как бы отдыхал перед грозой...

Гроза разразилась через несколько дней.

Для меня было устроено на Южной стороне смешанное собрание солдат и матросов. Странное, никогда не испытанное и ничем решительно не оправдываемое чувство удерживало меня от поездки. Это было тягостное предчувствие. Я пришел к Киске и сказал, что ехать не могу. Как я ни объяснял, в чем дело, Киска требовала, чтобы я ехал; в конце концов назвала меня «трусом».

При таких обстоятельствах мне ничего больше не оставалось, как пойти на Графскую пристань, к катеру. Не успел я спуститься на площадку, как подошли ко мне два солдата: Палицын и его приятель. Я знал и того.

Едва успел я спросить о чем-то по делу, как из-за спины моей вырос, покручивая усы, городской.

– Разговариваете? – мирно, словно вскользь, спросил он.

– Да, – ответил я, и вдруг мои ноги начали ныть. Сердце упало.

– А не прогуляться ли нам в участок? – так же спокойно продолжал городской.

Я посмотрел на солдат.

– За этим мы и пришли... – был тихий ответ.

Городской свистнул. Подошли еще двое полицейских. Солдаты исчезли (как я узнал впоследствии, они были уже

арестованы и, не зная ни моего имени, ни адреса, ходили при полицейских по городу, чтобы опознать меня). Меня отвели в участок; из участка ко мне в комнату, сделали обыск, забрали много литературы и препроводили Грина в тюрьму.

Никогда мне не забыть режущий сердце звук ключа тюремных ворот, их тяжкий, за спиной, стук и внезапное воспоминание о мелодической песне будильника «Нелюдимо наше море».

IV

Я был арестован 11 ноября 1903 года.

Вышел из тюрьмы по амнистии 20 октября 1905 года.

Корпус севастопольской тюрьмы состоит из четырех этажей и четырех коридоров-галерей с панелями по обе стороны; сверху донизу сквозь все этажи видны мостики, соединяющие панели, и винтовые железные лестники, соединяющие этажи. В каждом коридоре-галерее дежурит суточно надзиратель.

Меня поместили в камеру четвертого этажа и через час вызвали на допрос.

Когда я вошел в канцелярию тюрьмы, там были уже прокурор, жандармский полковник и еще какие-то чины, человек пять.

Я отказался давать показания; единственно, чтобы избежать лишних процедур, назвал свое настоящее имя и сообщил, что я – беглый солдат.

О всем прочем из меня не могли добыть ничего, хотя усердно грозили каторгой и даже виселицей.

Вновь отведенный в камеру, я предался своему горю в таком отчаянии и исступлении, что бился о стену головой, бросился на пол, в безумии тряс толстую решетку окна и тотчас, немедленно, начал замышлять побег.

На другой день вечером окошечко камеры откинулось,

упала свернутая записка; окошечко быстро захлопнулось. Записку бросил уголовный арестант-уборщик; уборщики свободно разгуливали по коридорам и оказывали политическим важные услуги.

Записка была от с.-д. Канторовича, провизора местной аптеки. Канторович был арестован уже две недели; я однажды встретился с ним у Киски.

Канторович писал, что я могу давать уборщику записки для города, арестант будет передавать их ему, а он, через одного надзирателя, наладит сношения с «волей». В записке были указания, как писать шифром – цифрами и посредством книги.

В течение следующих десяти дней завязалось дело с побегом, едва не стоившее мне жизни. Я сносился с Киской записками через одного молодого, уже спропагандированного Канторовичем надзирателя; надзиратель стал скоро сам приходить ко мне, исполняя мои поручения. Кроме того, Киска, а затем ее брат несколько раз являлись на улицу, против тюрьмы, выговаривая маханием платка (по известной азбуке) нужные фразы; я через окно отвечал им такой же сигнализацией.

Пока шли эти переговоры, из Петербурга приехала военно-судебная комиссия с очень простой целью: объявить Севастополь на военном положении, хотя бы на месяц, чтобы меня повесил военно-полевой суд, но этот номер почему-то не прошел. Вызванный предстать перед ней в канцелярию,

я увидел четырех генералов с весьма опасными лицами, но отвечать отказался.

Тогдашний контр-адмирал поклялся, что «сгноит меня в тюрьме».

Между тем Киска добыла на побег тысячу рублей. Было куплено парусное судно, чтобы отвезти меня на нем в Болгарию; за сто рублей был подкуплен извозчик, на котором должен был я, перебравшись через стену тюрьмы, скакать к отдаленной бухте, где ожидало судно.

В назначенный день в точно высчитанный час моей прогулки по двору тюрьмы (после обеда, около двух часов) на соседний двор, где помещались баня и прачечная, около здания бани перекинулась завязанная узлами веревка. Случилось непредвиденное: неожиданно в этот самый день на дворе прачечной-бани арестантки развешивали белье; его ряды висели на многих веревках, мешая быстро пробежать через открытую калитку к высокой тюремной стене...

По случаю холодного дня я был в пальто, но пальто накинул на плечи, чтобы удобнее было его сбросить, а в кармане я держал пачку нюхательного табаку, чтобы засыпать им глаза надзирателя, тем предупреждая его погоню за мной в соседний двор. Багроволицый усач, помощник смотрителя, вышел на крыльцо тюрьмы, увидел, как я нервно верчусь назад и вперед, и, должно быть, что-то заподозрил, так как проворчал весьма недвусмысленные слова. К огорчению моему, веревка, перекинутая через стену, оказалась тонким шпагатом, я

же просил толстую веревку; узлы на ней были завязаны не менее как на три фута один от другого... Я убедительно просил завязать узлы не более как на футовом расстоянии.

Время шло. Уже прошло минут пять, что перебросилась через стену веревка, ее видели не только я, но и арестантки на соседнем дворе. Помощник не уходил с крыльца. Я дошел до калитки, сбросил пальто и, путаясь под хлещущим по лицу мокрым бельем, пробежал к стене. Я схватил веревку, уже слыша сзади крики: «Держи, держи! Стреляй!» – и потянул, но, к ужасу моему, веревка свободно валилась вниз... Вдруг она натянулась.

Попытка взлезть на полторасаженную стену по новой, очень тонкой веревке кончилась неудачей: хотя оставалось мне взобраться лишь на аршин, чтобы протянуть руку к гребню стены (причем я здорово ободрал ладони!), как за самой спиной щелкнул курок, и помощник крикнул: «Стреляй его! Стреляй, сукин сын!» Я спасся тем, что, выпустив веревку, упал в траву. Меня с ругательствами отвели в карцер, где, впрочем, я пробыл всего два часа, так как очень быстро явились прокурор и жандармский полковник – допрашивать о побеге. Надо, кстати, сказать, что Леонид и Ровногуб благополучно удрали, перебравшись через Болгарию на «моем судне» во Францию; об их жизни там в «Русском богатстве» за 1910 (кажется) год есть ряд очень интересных очерков Евг. Синегуба.

Раздавленный и уязвленный неудачей, я чуть-чуть не по-

пался на удочку прокурора, когда тот довольно мягко спросил:

– Нет ли у вас знакомых, которые могли бы ходить к вам на свидание?

Уж я открыл рот, но... – о чудо! – старый, изъеденный сифилисом и водкой щучелищый жандарм чуть слышно кашлянул – и я увидел по его взгляду, что *попадусь*.

– Нет! – сказал я. – У меня нет никого – ни родных, ни знакомых.

Загадка человеческого сердца! Что подвинуло жандармского полковника предостеречь меня, своего врага? Я никогда этого не узнал и даже до сих пор не могу догадаться, в чем дело; разве лишь то, что прокурора он ненавидел более, чем меня, и не хотел, чтобы тот получил хотя бы какой-нибудь триумф посредством допроса?

О побеге я сказал, что показаний об этом давать не буду.

Меня, в виде наказания, сунули в нижнюю камеру. Там решетка была на уровне с землей. Затем в течение месяца я переходил все выше и выше, пока снова не достиг четвертого этажа; следствие было кончено, режим тюрьмы был свободный, и я сидел одно время с Крюковым, четырехлетним мучеником. Это был студент, осужденный на поселение за хранение нелегальной литературы. Так как его подозревали в пропаганде среди войск, то и проморили в тюрьме целых четыре года. Скоро он отправился в ссылку.

V

По просьбе заключенных начальство охотно сажало их вдвоем; так, например, я одно время сидел с Канторовичем.

Около декабря Киску, по подозрению в участии в моем деле, выслали этапом в Архангельскую губернию. Оттуда она перебралась в Швейцарию.

Совместное сидение хуже, чем одиночное; измученные люди вскоре начинают раздражаться, ссориться, и начальство вновь разделяет их. Но сидеть одному очень тоскливо, а потому вновь возникают просьбы о помещении с кем-нибудь вдвоем.

Наши камеры были неравной величины: угловые – побольше, неугловые – темные каморки с выкрашенными до половины в серый цвет стенами, представляющими смесь грязных белил с карандашными и высеченными надписями прежних жильцов. На асфальтовом полу, у стены, помещалась железная койка с соломенным матрацем, соломенной подушкой и одеялом серого грубого сукна. Постельное белье было из холста. У дверей помещалась параша: ведро с крышкой, вделанное в серый табурет. У окна ставилась на полочку жестяная керосиновая лампа, горевшая всю ночь. Понятно, какой воздух был в камере зимой: тут смешивались запахи керосиновой гари, параша и табаку. Политические пользовались разрешением носить свою одежду и белье. Кто сидел в

третьем и четвертом этажах по переднему фасаду, тот обыкновенно целые дни торчал на табурете перед окном, рассматривая протекающую на улице свободную жизнь: пешеходов, извозчиков, посетителей, идущих по двору на свидание или для «передачи». У меня не было ни свиданий, ни передач, но я несколько раз получал по почте от друзей небольшие деньги, раз получил две смены белья и носки.

На собственные деньги заключенных, хранившиеся в конторе, мы каждый день вечером составляли список покупок, – их утром приносил и раздавал надзиратель. Против тюрьмы, на углу, была бакалейная торговля, где можно было купить томаты, брынзу, колбасу, чай, сахар, табак и белый хлеб. Но я редко мог баловать себя такими вещами, а тюремная пища была всегда одна и та же: кислый борщ с мелко нарезанными кусочками коровьих голов да пшенная каша с бараньим салом. При полуторе фунта в день черного хлеба, при ужине из чашки жидкой пшенной кашицы я часто бывал впроголодь. Утром в шесть часов давали кипяток, слегка подкрашенный чаем, и два куса пиленого сахара.

После чая дежурный уголовный арестант вносил мокрую швабру, которой я протирал пол; потом выносил парашу в уборную. В девять часов происходила «поверка» – обход камер начальником или старшим надзирателем, то же повторялось после семи часов вечера. Два раза в день в неопределенно изменяющиеся часы мы должны были «гулять», то есть ходить взад-вперед по двору перед тюрьмой.

Итак, это была так называемая «открытая» тюрьма. Иногда надзиратели после вечерней поверки (случалось, даже днем) впускали нас друг к другу в камеры или открывали откидные форточки дверей; просунув наружу голову, мы могли видеть сидящих на противоположной стороне коридора знакомых. Завязывались разговоры, дискуссии, наконец – просто болтовня.

Наиболее свободный режим был месяца два при новом начальнике, частном приставе (старый чахоточный начальник умер). Этот апоплексический солдафон тоже умер – от «кондрашки». Он обыкновенно почти не выходил из лазарета, где пил с фельдшерицей водку и вызывал туда более покладистых политических для разговоров о «высоких материях». Он умер, должно быть, потому, что круто переменялся образ его жизни: двадцать лет пристав кричал в своем участке, распекал, бил, грозил, а тут сразу попал в сонную тишину канцелярии.

Так или иначе, при этом странном либерале двери наших камер даже не запирались; мы разгуливали в гости друг к другу с утра до вечера.

VI

Прошел год.

Я видел в снах, что я свободен, что я бегу или убежал, что я иду по улицам Севастополя. Можно представить мое горе при пробуждении! Тоска о свободе достигала иногда силы душевного расстройства. Я писал прошение за прошением, вызывал прокурора, требовал суда, чтобы быть хотя бы на каторге, но не в этом безнадежном мешке. После моего ареста отец, которому я написал, что случилось, прислал телеграмму: «Поддай прошение о помиловании». Но он не знал, что я готов был скорее умереть, чем поступить так.

На свои прошения я не получал ответа, а прокурор, когда бывал в тюрьме, говорил, что следствие не закончено.

Я не оставлял мысли о побеге, придумывал планы, один другого сложнее и запутаннее. Сидя в четвертом этаже, я мечтал пробить потолок, чтобы вылезть на чердак; я сидел тогда вместе с учеником Мореходных классов, эсдеком; я всячески подбивал как его, так и других, но встретил довольно вялое отношение. Сидя с Канторовичем, я почти увлек его планом размягчения известково-ноздреватого камня стены сверлением скважин и вливанием туда серной кислоты, но эта затея рассеялась – кто же мог доставить нам кислоту? Напасть на надзирателя, заткнуть ему рот, надеть его форму, отобрать ключи, взорвать стену во время прогул-

ки динамитом, устроить подкоп, рискнуть пробежать в открытую калитку (когда впускали кого-нибудь) – все было передуmano; все было – и осталось – в мечтах.

Между тем более практичные уголовные бегали, не мудрствуя лукаво, несколько раз. Всего, за два года, было шесть побегов. Один бежал, разогнув ночью поленом прутья решетки; другой, когда мылся в бане, надел вольную одежду, оглушил надзирателя кулаком, выскочил, влез по сточной трубе на крышу – и был таков; я видел сверху, как он перебежал площадь; четыре человека бежали днем во время прогулки очень просто: их товарищи кинулись к стене, составили телами живую лестницу, по которой беглецы вскочили на гребень в один момент.

Каждый раз колокол бил набат, надзиратели выбегали из ворот ловить арестантов, но сделать это сразу не удавалось никогда; кое-кто из беглецов был задержан уже впоследствии, через несколько дней.

Хорошо бежал с.-д. Фельдман, впоследствии бывший на «Потемкине». Он просидел ровно три дня. На третий день приехали жандармы и увезли его на допрос. Фельдман, естественно, не вернулся, а жандармы, естественно, были неестественные.

VII

Я сказал, что никто не приходил ко мне в тюрьму. Это не совсем верно. Вскоре после моего ареста политических заключенных вздумал посетить архиерей из Симферополя. Это был дородный высокий человек с зычным голосом. На свою беду, он зашел ко мне первому.

После неудачного побега я был в мрачном отчаянии. Архиерей вошел, сопровождаемый тюремным начальством, и с места в карьер сказал что-то высокомерное.

– Вам незачем приходить сюда, – сказал я. – Мы не дикие звери, чтобы смотреть нас из пустого любопытства.

Архиерей отступил и укоризненно покачал головой.

– Нет! Вы и есть дикие звери! – заявил он, поворачиваясь уходить. – Я думал, что вы – люди, а теперь вижу, что точно – вы есть звери!

Он ушел, ни к кому больше не заходил, а через час меня вызвали в канцелярию.

– Зачем вы обидели батюшку? – строго спросил начальник.

Я только махнул рукой.

На втором году моего сидения в тюрьму пришел другой архиерей – старенький, сгорбленный, лукавый; он долго бранил меня за то, что я много курю (в камере стоял дым, как в кочегарке), и, уходя, стянул с полки мою четвертку табаку;

я видел, как он ловко стянул ее, спрятав в рукав, но ничего не сказал.

Еще как-то раз меня посетила, проезжая из Анапы, сводная моя сестра; оставила мне рубль, просидела с час и ушла.

Летом 1905 года состоялся первый суд – военно-морской. Судились – я и шесть солдат-артиллеристов. Защитником приехал А. С. Зарудный; он был у меня в камере, без свидетелей, три раза и посоветовал, если я хочу хоть сколько-нибудь «благополучного» исхода дела, не говорить суду ничего, совершенно ничего, кроме ответов на вопросы об имени и гражданском состоянии.

Заседание в здании военно-морского суда началось с утра и продолжалось до шести часов вечера, с двумя перерывами. Как рядовой, я должен был стоять не присаживаясь, не имел права курить, отвечать должен был «так точно» и «никак нет!». Я устал как собака.

Прокурор требовал для меня двадцати лет каторжных работ. Зарудный произнес блестящую речь. Но обстоятельства дела были слишком очевидно против меня. После заседания некоторые офицеры-судьи благодарили его за то, что своей речью он многое объяснил им в отношении целей революционной работы.

Прокурор проиграл: меня приговорили к бессрочной ссылке на поселение в отдаленнейшие места Сибири.

Как ни странно, я был рад и этому. Из ссылки я надеялся убежать. Солдаты были приговорены частью в дисципли-

нарный батальон, частью – в каторжные работы на срок до шести лет.

Но мне предстоял еще один суд. Гражданское следствие объединило общим процессом меня с эсдеками, составив дело о революционной агитации среди рабочих. У меня нашли несколько таких же брошюр, какие были арестованы среди с.-д., и этого оказалось достаточным, чтобы судить меня вместе с Канторовичем и другими свезенными в Феодосию из разных городов Крыма эсдеками.

Заседание судебной палаты было назначено в Феодосии, где я теперь живу с 1924 года и где тщетно искать хотя каких-нибудь следов старой тюрьмы; вся она растащена по частям, и на площади, где она когда-то была, появились небольшие домики, составленные из ее погибшего корпуса.

Меня с Канторовичем привезли на пароходе под конвоем в Феодосию; в большой нижней камере, куда мы были помещены, сидело уже человек восемь. Вскоре приехали из Петербурга защитники; среди них помню Грузенберга. Как бы в предчувствии осенних событий 1905 года, режим тюрьмы был в высшей степени свободный: камеры не запирались, политические ходили по коридорам и по двору, когда хотели. Рассчитывая бежать, я склонил четырех человек устроить подкоп из камеры через узкое расстояние (не более сажени) между стеной корпуса и наружной стеной, но как быстро охладели мои соучастники! Правда, они достали с «воли» пилу-ножовку, саперную лопатку и пилку от лобзика, одна-

ко, когда дошло до дела, работать пришлось одному мне. Я выпилил кусок доски деревянного пола и хотел начать рыть, как другие заключенные стали просить оставить эту затею: многим из них предстояло выйти на поруки и под залог; иные полагались на искусство адвокатов. Они боялись, что возня с подкопом, если она откроется, может им повредить.

Я вставил выпиленный кусок доски на прежнее место и придумал другое: пилкой лобзика я перепилил прут решетки. Теперь никто не соглашался бежать со мной: все ждали суда. Я не хотел идти против скрытого неодобрения своих сокамерников. Должно быть, среди нас был осведомитель, так как неожиданно днем в камеру явился надзиратель и начал стучать по решетке. Однако пропиленное место прута так было незаметно замазано мною варом, что надзиратель ушел ни с чем.

Каждый день происходили беседы с защитниками; каждый день толпа знакомых, родственников и подставных «невест» приходила на свидания, которые давались в конторе тюрьмы всем сразу; тут можно было, на глазах надзирателя, вручить записку, посеCRETничать, уговориться о чем угодно. Всего сидело тогда человек пятнадцать.

Мне тоже устроили «невесту», и раза три в тюрьму приходила совершенно мне незнакомая, страшно смущавшаяся, простенькая девица, а я смущался еще больше, чем она, так что разговор не клеился. Она добросовестно являлась в зал судебного заседания, при выходе из суда дала мне букетик

цветов, и больше я ее не видел.

Благодаря усилиям адвокатов на первом же заседании палаты слушание этого общего дела было отложено. Канторович и многие другие выпущены на поруки или под залог, а я дня через три судился отдельно и по доказанности обвинения получил год тюрьмы. Это наказание покрывалось, конечно, бессрочной ссылкой.

В тюрьме остался один я. Меня посадили в камеру второго этажа. Она не запиралась. Я целые дни бродил по двору, подружился с маленькой девочкой, дочерью начальника, и собакой-овчаркой.

Канторович некоторое время оставался в Феодосии. По моей просьбе он принес мне съестную передачу, табак и пять штук огромных машинных гвоздей.

Будка, у которой дежурил часовой-солдат с винтовкой, помещалась рядом с деревянным сортиром, между будкой и оградой было узкое расстояние.

Я сделал из гвоздей «кошку», из казенных простынь и своего белья скрутил толстую веревку, завязав на ней частые, большие узлы, приладил к одному концу этого каната свой якорек, спрятал оружие бегства под полу пиджака и вышел во двор гулять.

Походив некоторое время, я сделал вид, что захожу в сортир, а сам шмыгнул за будку и перекинул через железный кровельный гребень стены «кошку».

Она зацепилась прочно. Тотчас я полез вверх, упираясь,

как учили меня уголовные, коленями в стену, и уже схватился за гребень, как веревка лопнула и я свалился вниз. Обрывок болтался вверху, на гребне.

Солдат выглянул из-за будки и растерялся. Он стоял, тупо смотря, как я, смотав оставшийся у меня обрывок, перекидывал его.

– Не смотри! Не смотри! Отвернись, такой-сякой! – кричали солдату уголовные с верхнего этажа, видевшие мою горькую попытку бежать.

– Беги в камеру! – сказал солдат. Он подошел к стене и штыком скинул висящий обрывок на сторону пустыря. Весь дрожа от отчаяния, я ушел, лег на койку и заревел.

Дело это не открылось бы, если бы начальник, возвращаясь из города, не заметил валяющуюся у стены «кошку». Он прибежал ко мне, долго бушевал и грозил карцером, упрекал меня в «неблагодарности» и потрясал перед моим лицом «кошкой».

Вначале я отпирался от всего, но потом, разозлясь, заявил:

– Вы принимаете все меры, чтобы не выпустить нас отсюда. Почему мы, в таком случае, не можем принимать все меры, чтобы бежать? Ваша задача – одна, наша – другая.

С этого дня я был заперт на ключ, лишен прогулок и книг, а через три дня, как «опасный», я был увезен снова в надежную севастопольскую тюрьму.

Я вышел лишь 20 октября, после исторического расстрела

демонстрации у ворот тюрьмы. Адмирал согласился освободить всех, кроме меня. Тогда четыре рабочих с.-д., не желая покидать тюрьму, если я не буду выпущен, заперлись вместе со мной в моей камере, и никакие упрасивания жандармского полковника и прокурора не могли заставить их покинуть тюрьму.

Через двадцать четыре часа после такого своеобразного бунта всех нас вызвали в канцелярию, и я получил наконец свободу.

Каждый день я проводил в квартире того ссыльного учителя, который пугал людей на улице страшными возгласами. К нему приходили как в штаб-квартиру.

Однажды десятилетняя девочка, дочь учителя, взяла лежавшую среди другого оружия заряженную двустволку. Я мирно разговаривал со Спартакoм. У самого моего уха грянул выстрел, заряд картечи ушел глубоко в стену, а девочка, испугавшись, бросила ружье и заплакала.

Она призналась, что уже прицелилась в меня (это в двух-то шагах!), но, неизвестно почему передумав, прицелилась мимо моей головы; однако мне обожгло ухо. Она думала, что ружье не заряжено.

Общее волнение очевидцев ничем не отразилось на мне. Я остался спокоен и вял, что объясняю сильной психической реакцией после освобождения. Действительно – свобода, которой я хотел так страстно, несколько дней держала меня в угнетенном состоянии. Все вокруг было как бы неполной,

ненастоящей действительностью. Одно время я думал, что начинаю сходить с ума.

Так глубоко вошла в меня тюрьма! Так долго я был болен тюрьмой...

ФОТО



А. С. Грин

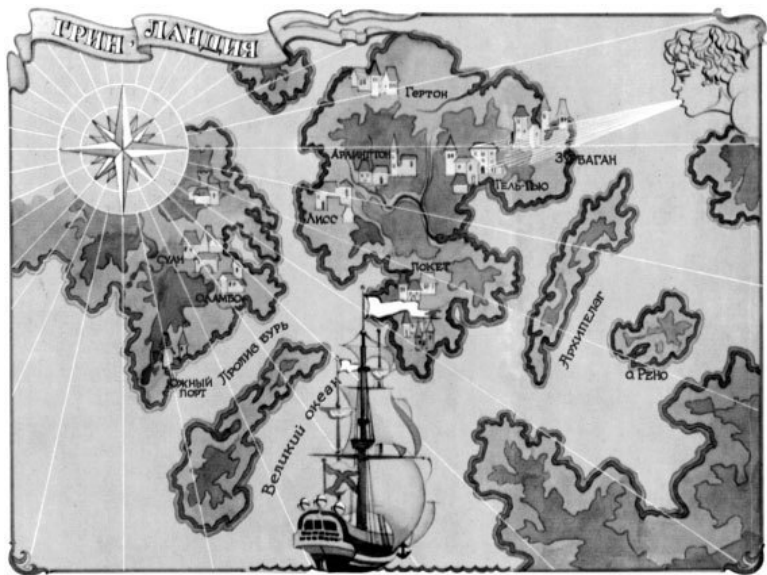
А. С. ГРИН

**А Л Ы Ё
П А Р У С А**



ИЗ-ВО Л. Д. ФРЕНКЕЛЬ

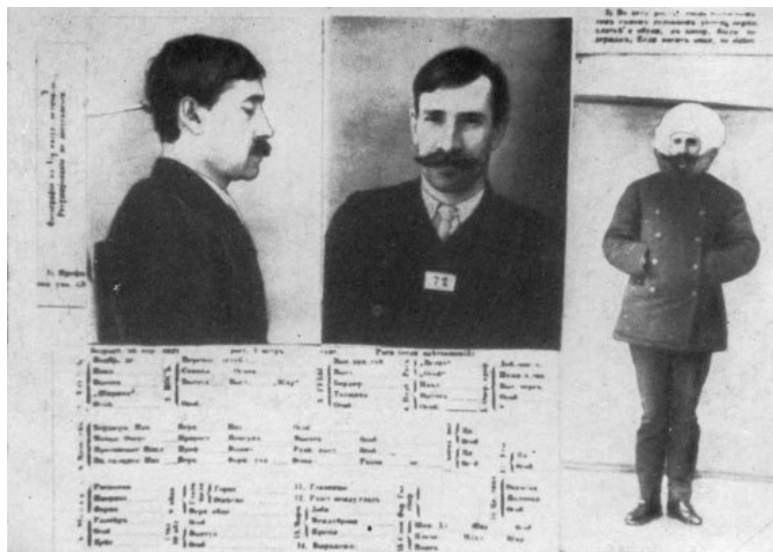
Обложка одного из первых изданий «Алых парусов»



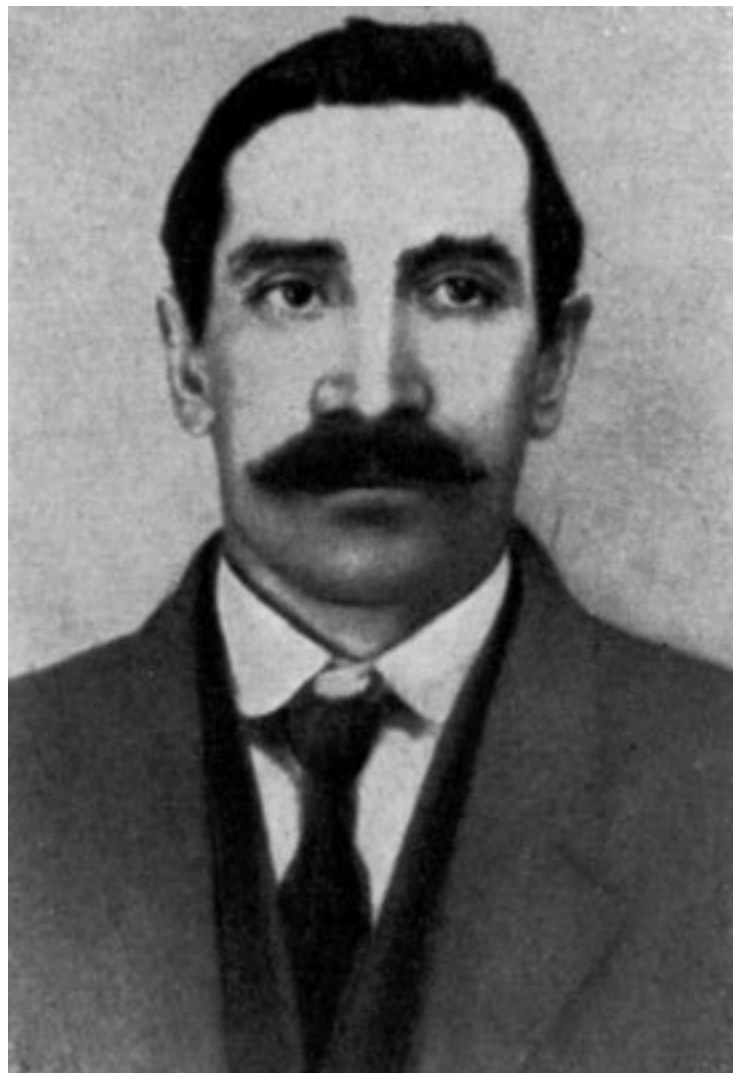
*Фантастическая страна Гринландия. Рельефное панно.
Музей А.С. Грина в Феодосии*



А.С. Грин с ястребом по кличке Гуль-гуль. «Сев... мне на левое плечо, Гуль заглянул мне в лицо с тем полным пониманием выражением глаз, которое так восхищает нас у животных».



А.С. Грин. Апрель 1911 г. Снимок сделан в Архангельске



А.С. Грин. 1916 г.

Книгоиздательство Е. Д. Мягкова.
„Народная мысль“.

№ 30.

А. С. Г.

ЗАСЛУГА
РЯДОВОГО
ПАНТЕЛЪЕВА.
РАЗСКАЗЪ.

Цена 5 коп.

МОСКВА

—
1906.

Обложка одного из первых изданий А.С. Грина

Послужной список солдата Александра Гриневского и обложки двух дел департамента полиции о пропаганде среди войск Севастополя



Нина Николаевна Грин. 1920-е гг.

А.С. ГРИНА



52



Дом писателя в Старом Крыму

